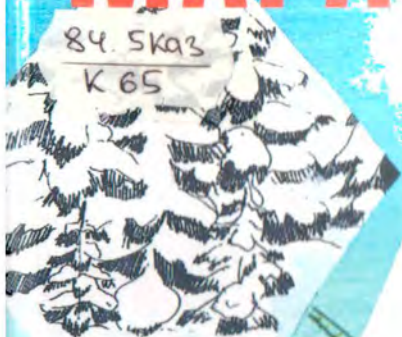


МАРАТ КОНЫР

84. SKa3
K 65



ВТОРОЙ ПОХОД ЗА СЛАВОЙ

*или огонь, вода, медные трубы
и волны зурды*

МАРАТ КОНЫР

ВТОРОЙ ПОХОД ЗА СЛОВОЙ

*или огонь, вода, медные трубы
и волчьи зубы*

Р о м а н



Издательство "Фолант"
Астана-2007

ББК 84 (5 Каз-Рус) - 4
К 65

К 65 Коныр Марат.

**Второй поход за славой или огонь, вода, медные
трубы и волчьи зубы. – Астана: Фолиант, 2007.**
– 224 с.

ISBN 9965-35-199-6

К 4702250200
00 (05) - 07

ББК 84 (5 Каз-Рус) - 4

ISBN 9965-35-199-6

© Коныр М., 2007
© Издательство «Фолиант», 2007

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

По перрону Казанского вокзала, вдоль пассажирского состава, ровным спокойным шагом, держа в руках дорожную сумку, идет высокий стройный человек. Это и есть Единственный. Начинается его путешествие, как на заброшенный полустанок в казахской степи, так и по переплетенным пространствам собственной памяти.

Линия жизни героя, прочерчиваемая его характером, устремлениями и роком, в сущности, прямая, как стрела, выводит его к вершинам иерархии преступного мира.

Побег из детдома, голодное беспризорное детство, воровская романтика 50-х годов — итог: «малолетка», колония для несовершеннолетних преступников. Старт пресловутой «кривой дорожки» — срок, тюрьма, новый срок, тюрьма... — марафон, как спички ломающий судьбы людей.

Просветы в его жизни — встречи и любовь к герою трех женщин — Инги (его юношеская любовь в короткий период жизни на воле), от которой рождается сын; Светланы (хирург тюремного лазарета, вытащившая Единственного с того света), и Анжелика (кинозвезда, полюбившая Единственного и ставшая его роковой женщиной).

Стихийная верность Единственного законам воровской чести, моральному «кодексу» уголовного мира и встреча со старым вором в законе, Тузом, утверждают непререкаемый авторитет Единственного в тюремном мире — новый поворот в его судьбе. Воры, с подачи сына Туза Якова, устраивают ему побег из тюрьмы и коронуют на сходке в Москве, как Вора в законе.

Середина 1990-х годов. Передел собственности гигантской, могущественной страны, в котором криминальный мир играл далеко не последнюю роль, война преступных группировок,

не брезгующих самыми грязными методами, недопустимыми с точки зрения «кодекса» воровской чести — совершенно новый, неожиданный мир для Единственного, прошедшего почти всю свою жизнь за стенами лагерей и свято чтящего воровские традиции.

Глава клана по кличке Дядя Саша принимает решение отдать под контроль Единственного коды счетов в зарубежных банках. По поручению Дяди Саши Яков знакомит Единственного с криминальным банкиром по кличке Паук.

Природный талант, выработанные за годы железный самоконтроль и дисциплина позволяют ему в короткие сроки освоить новую роль, отведенную ему криминальной элитой — управление финансовыми потоками и коммерческими операциями воровского «общака».

Неожиданная встреча с кинозвездой Анжеликой Росточкой порождает ураган взаимной любви, захватывает нашего героя. Единственный и Анжелика приезжают на сватовство Латвины, в дом цыганского барона. Во время прощания перед отлетом Единственного и Анжелики барон рассказывает Единственному о бриллианте «Черный принц» стоимостью четыре миллиона долларов. О том, что он дал этот камень одному влиятельному цыгану в Москве и тот его не возвращает. Барон просит Единственного о содействии.

Единственный по возвращении в Москву назначает встречу с цыганом Сашей Успенским, куда он приезжает в сопровождении своего телохранителя по кличке Меченый. Возникает кровавая перестрелка. В результате Единственный узнает, что за бриллиантом стоит криминальный банкир Паук.

Паук, обеспокоенный тем, что ему придется расстаться с бриллиантом, записывает на диктофон разговор Единственного и Анжелики, в котором Анжелика убеждает Единственного отойти от преступного мира, уехав с ней за границу.

Рассчитывая столкнуть Единственного с Дядей Сашей, Паук предоставляет последнему диктофонную запись, предполагая, что Дядя Саша отдаст приказ устранить Единственного. Но просчитался. Всемогущий глава клана приказывает убить кинозвезду.

Узнав об ее убийстве, Единственный начинает мстить. Смерть настигает Паука и его подручного-палача.

Он не убивает Якова — это должна решить сходка воров. Яков, искренне привязавшийся за это время к Единственному, испытывает свою вину перед ним, и чтобы хоть немного очиститься, раскрывает Единственному тайну о том, что жив его отец — старик Каратас.

Единственный едет к нему на небольшую железнодорожную станцию Канды-агаш (Кровавое дерево), расположенную на севере Казахстана, и поселяется в его доме под видом квартиранта.

Лучами нелегкого времени освещена многострадальная фигура Каратаса.

В 1928 году, после разгрома одной из последних басмаческих банд, Каратас демобилизуется и возвращается в родной аул к мирной жизни.

Здесь он встретит и полюбит юную Жулдуз. Одноглазый сотрудник НКВД Кодар ненавидит орденосца-красноармейца, тоже претендующего на Жулдуз. Используя власть, он арестовывает и ссылает в Сибирь родителей Каратаса. А затем приезжает арестовать и самого бывшего красноармейца.

Возмущенный батыр восстает против этой несправедливости и попадает в разряд «врагов народа».

Вынужденный скрываться, он укрывается в ближайших горах, добывая себе пропитание охотой, живя в пещере, словно волк, прячась от людей.

Иуда-родственник продает его чекистам и батыр попадает в засаду. Он уходит от погони, под ним убивают любимого коня.

Роня слезы, оплакивая потерю, пеший, он увлекает за собой, а затем пускает по ложному следу погоню.

И все-таки его настигает пуля преследователей. Раненый Каратас попадает в застенки НКВД, где Кодар наслаждается пытками над ним.

Каратас получает длинный, как аркан кочевника, срок в 25 лет.

Он выживает среди тысяч и тысяч таких же, как сам, «врагов народа», среди озверевших блатарей, в яростных, гибельных

схватках за право на жизнь. И не просто выживает, проглатывая четырехсотграммовую лагерную пайку да миску черной баланды. Он завоевывает невольное уважение и восхищение собой среди лагерного люда и отпетых уркаганов.

На «Студеном» он встретит своего бывшего командира эскадрона, лихого конника, выросшего до ранга комбрига.

Обвиненный в троцкизме, его командир попадает в лагерь, но продолжает верить, что этот произвол творят за спиной товарища Сталина враги революции. Каратас, король уркаганов Туз и командир совершают побег.

В этом побеге нелепо погибает командир. В пути батыр и Туз попадают в засаду, которую им устраивает их сообщник Бурят в надежде завладеть золотом, которое несут беглецы.

Оба попадают в руки «краснопогонников». Связанные по рукам и ногам, беглецы узнают, что им должны отрубить головы, чтобы в качестве доказательства отвезти в лагерь.

Бурят склоняет старшину к убийству двоих красноармейцев, чтобы, захватив золото, поделить его пополам.

Освободившись от пут, батыр броском спрятанного ножа убивает старшину, а Туз приговаривает изменника Бурята к смерти и пристреливает его.

Пройдя немыслимые страдания, Каратас добирается в родные степи и приходит к Жулдуз. Они прячутся высоко в горах, в пещере. Жулдуз рождает ребенка и погибает после родов от открывшегося кровотечения. Каратас относит мальчика в Дом малюток, расположенный в городке Копал, дав ему имя Жалгыз, но не дав собственной фамилии, так как на нем висел ярлык «враг народа». Это был 1941 год, полыхала Великая Отечественная война.

Раздираемый сомнениями, болью пережитого, кровавой обидой на советскую власть, батыр понимает, что немец может дойти и до его родной земли. И как бы ему не было трудно, в тревоге за свой народ, чтобы остановить врага, Каратас под вымышленной фамилией уходит на фронт, где героически сражается и получает тяжелое ранение. Всевидящее око особого отдела опознает в нем беглого зэка и «врага народа». И опять лагерь, лагерь, лагерь. И только в 1953 году по амнистии Берия он возвращается на родную землю. За спиной его

болтался пустой сидор, в котором позвякивали кружка с ложкой, и на душе у ээка Каратаса было вымерзше и пусто, как в лагерном сидоре.

Он вернется в родные края на могилу своей незабвенной Жулдуз и прочтет там молитву. В приюте, в который когда-то он собственными руками сдал сына, найти хоть какие-то следы оказалось невозможным. На всю жизнь это ляжет на него тяжким грузом, болью резавшим его сердце.

Здесь он встретил одинокую русскую женщину, фронтовичку. Оба, обессиленные жестоким временем, потянутся друг к другу, как стылые ветви, ожившие с приходом весны.

Но, как оказалось, нет места на родной земле бывшему ээку Каратасу, носившему, как ярмо, ярлык «враг народа».

И покатались, словно перекасти-поле с юга на север, батыр и русская женщина, не испугавшаяся его ярлыка. Последний клочок земли, где в надежде приклонить голову он попадает к мудрому Сеиту-аксакалу.

Он рассказывает ему о своей горькой судьбе.

И ответил ему мудрый аксакал: не надо сердиться на Отчизну. Разве можно сердиться на мать? А с судьбой борись до конца! Нельзя, разуверившись в справедливости власти, отказаться от собственного народа.

— Оставайся здесь, батыр. Это твоя земля. Сегодня мы протянем тебе свою руку, дадим тебе место у нашего дастархана, подвинемся у очага, делимся теплом. Кто знает...? Может, завтра мы обратимся к тебе за помощью? И ты не откажешь нам.

С тех пор и остался на этом богом забытом разъезде батыр на всю жизнь.

У него так и не появилось детей, и он неимоверно страдал нечеловеческой болью, вспоминая своего сына.

Впервые в своей жизни суровый старец Каратас раскрывается перед незнакомым человеком — квартирантом, испытывая к нему необъяснимую тягу, доверяя ему историю своей жизни. Главной причиной своей трагедии Каратас считает кровавый эпизод своей молодости, губительным роком преследовавший его всю жизнь: в пылу боя с басмачами он зарубил шашкой стрелявшую в него беременную женщину.

Не в силах более скрывать тайну, Единственный открывается перед отцом. Старик опознает мету на теле Единственного, а тот после рассказа Каратаса убеждается, что тот действительно его отец. Отец и сын обретают друг друга.

Но рок, преследовавший отца, а затем сына, настигает Единственного. Посланные Дядей Сашей киллеры убивают Единственного, чтобы не допустить созыва им сходки. Он умирает на руках у своего отца.



Уходящая натура

Наш поезд грохочет на стыках и трясется, точно большой в горячечной лихорадке. Он неотвратно приближает меня к намеченной цели и везет съемочную группу: разноликих, разношерстных людей. Это мой второй поход за славой, так я шучу над собой, в предвкушении встреч с необычайными людьми и невероятными приключениями...

Итак, я лежу на второй полке, забросив руки за голову, с трудом удерживаю спокойствие и с напущенным беззаботным видом рассуждаю о дрянных дорогах. В голове текут бессвязные мысли, я всматриваюсь в мутное окно в надежде разглядеть в летящей темной степи признаки снега. Но по ту сторону идет странный дождь и от отчаянья в темноте мерещатся сугробы.

В то время как от страха у меня сжимаются внутренности, режиссер, оператор и киргизский актер невозмутимо пьют водку. Ужас нарастает, словно тесто на дрожжах, и меня злит, что они снег называют уходящей натурой. Ее просто нет, за окном точно из дырявого сита, с черных небес струями льется вода. Громко чокаясь стаканами, спутники посматривают на меня и хитро переглядываются.

— Как же мы будем снимать зиму?

— Купим грузовик муки, сделаем снег и... начнем снимать, — актер делает вид, будто помогает мне решить эту головоломку. Спутники прыскают от смеха.

— В самом деле, продюсер, как быть? — улыбается режиссер, не ехидно, а для проформы, хочет поддержать настроение собутельников. Так же, как и мне, ему не до смеха, это его первая постановка. Он озабочен, удручен, шутки цедит сквозь зубы и напоминает капитана судна, рассказывающего анекдот в момент кораблекрушения.

— Со мной не пропадете, я в своей жизни из худших ситуаций выбирался! Принесем в жертву белого барана и повалит такой снег, вы только успевайте снимать! — отбиваюсь я.

Я соображаю, что плету несусветную чушь и раздумываю над тем, что станет с группой, если он не пойдет. Разъедутся актеры, в ожидании снега проестся бюджет экспедиции. Авторитет мой был тоньше корочки зыбкого льда, его предстояло завоевать, подобно Александрию Цезарем.

Память — клубок, разматываясь, откидывает меня в далекое прошлое.

В тот день, напросившись в туалет, я разобрал стену и удачно бежал из детского приемника-распределителя. Позже я ехал на крыше такого же вагона и завидовал пассажирам. Была такая же ночь, с черного неба не переставая лилась вода, и я в такт колесам выстукивал морзянку. Помнится, чтобы утвердиться в своей детской ненависти, я решил заглянуть в окно. Закрепив шнурками кед, ноги к скобам и повиснув над несущейся землей, я опустил к окну.

Пройдут годы моей жизни, и я стану негодовать, умеряя пыл каскадеров, запрашивавших за подобный трюк невероятные деньги, точно кадр восстанавливая тот эпизод.

Кино — это полет творческой поэзии, а жизнь — банальная и страшная проза!

Все же ночь взяла свое, и вагонная качка сморила моих спутников. Они мирно храпели, разбросавшись по полкам. И я, устав от переживаний и волнений, погрузился в мягкую негу сна.

Снилась мне бескрайняя занесенная равнина, по которой на смертный бой навстречу друг другу неслись табун лошадей и стая волков. Снежная пыль из-под сотен копыт завесой взметалась к небу, покрытые морозным инеем гривы от скорости стояли дыбом над обезумевшими конями, и из ноздрей, точно из лопнувших паровых труб, вылетали горячие струи. А навстречу им, выбросив розовые языки из оскаленных пастей, стелясь над сугробами, летели голодные серые лютые хищники.

И все смешалось: кони, волки, девствецный снег, в один миг окропившийся.

С жутким криком я соскочил с полки и бросился к окну, но за ним все так же продолжал лить дождь. В стакане оставалась

недопитая водка, я взял его в руки, подержал, раздумывая и, глубоко вздохнув, поставил обратно на стол.

Я стал раздумывать над своим сном и более всего о волках, вспоминая собственную историю с ним. Это потом, по прошествии времени, я разгадаю его и пойму, что тот сон мне был знаком.

Волк!

Что же это за зверь, и почему его так ненавидит род людской? Псы, с ними все ясно. Им не дано стать волками. В их сердцах нет застывшего сгустка крови, что вынуждает риск делать образом жизни! Ум, собачий ум, основанный на личной преданности хозяину, моделирует их психику рабской!

Судьба столкнула меня с серым один на один. Я проиграл! А он ушел, презрев человека!

Стоял март. В степи висела унылая промозглость. Казалось, все в округе притихло в ожидании солнца. Живность в такие дни забивается глубоко в норы, буераки, расщелины. Не слышно было даже крохотных беззаботных птиц. Прижавшееся к земле смурное небо не сулило ничего доброго.

Вот в такой полдень я встретился с ним. Он был невероятно тощ, остатки зимней шерсти клочьями свисали с худых боков, и только огромная голова держалась высоко, гордо. Он трусил вдоль дороги, не обращая на мою одинокую машину внимания. Я подал ему длинный протяжный сигнал. Волк не обернулся, лишь обнажил пасть с белыми острыми клыками, точно зевнул.

Мы продолжали двигаться рядом, и я в гневе будоражил степь гудками, но он игнорировал меня. И тогда во мне взбунтовалась извечная глупая человеческая амбиция: я заставляю тебя считаться с собой! Потому что я сильнее тебя! А значит, ты должен преклониться!

Я вышел из машины и достал из багажника нож с длинным, тонким лезвием.

— Вступлю с ним в схватку и сдеру с него шкуру.

Волк был в десятке шагов и исподлобья следил за навязчивым двуногим, каким я ему представлялся. Крепко сжав рукоять и хрустнув зубами, я двинулся ему навстречу. Мы были одни на этой равнине, и нам было не разойтись!

Побуревший снег лежал скукоженный, насквозь пропитанный талой водой. Я сделал шаг и провалился в сугроб, ноги разъехались в стороны. От неожиданности я упал руками в холодную массу и выронил оружие. Тысячи игл страха пронзили мою мгновенно взмокшую спину. Я поднял взгляд и залился румянцем от стыда...

Если бы вы только знали, как мне было совестно оказаться беспомощным набором мяса и костей, обтянутым потной кожей. Изумрудные глаза хищника глядели прямо в мои зрачки. Они светились глубочайшим презрением. Он повел в сторону нос.

Худой, голодный, он готов был принять мой вызов, но я ему наскучил... и тогда он издал загадочный протяжный гортанный звук. Точно поведал мне Великую мудрость природы: прежде чем вставать перед зверем, оцени свои возможности, человек!!!

Человек всегда ненавидит того, кого он боится...

Выгрузка группы смахивала на нашествие в провинциальный городок цыганского табора. Местная братва, прослышавшая, что я еду снимать кино о воре в законе, встречала на перроне.

Они заверили меня в своей поддержке, и я сдержанно поблагодарил, не ведая, насколько эти люди умеют держать слово. Искренне проявляя заботу, они столько помогут нам, порой не покидая до утра съемочную площадку.

Подожли автобусы, и мы благополучно покинули вокзал, а еще спустя час разместились в санатории, раскинувшемся в прекрасном бору.

— Ты чем-то опечален, тебя что-то тревожит? — стал допытываться местный авторитет, наблюдая за моим хмурым лицом.

Я рассказал о своей проблеме. Послеобеденное солнце уже стояло высоко над макушками елей, когда привезли жертвенную овцу. Мулла стал читать суру из Корана и просить Аллаха, чтобы он послал нам снег. Алая кровь овцы толчками вытекала из перерезанного горла, а мы сидели на корточках, сложив ладони: я, режиссер, оператор и братва. Мои губы вторили молитве. Я просил Всевышнего о круговертных буранах. День еще только набирал обороты, как вдруг небо стремительно потемнело, налетел холодный северный ветер, и произошло

ЧУДО! Из поднебесья мелкими крупинками посыпалась снежная крупа. О, если нас видеть в тот момент!

Мы все что-то кричали друг другу, и счастливая братва переглядывалась между собой, навсегда уверовав в Великую Божью милость!

Так начался первый съемочный день.

В одночасье занесенном порошей сосновом горельнике мы сняли эпизод побега нашего героя из сталинского лагеря.

История нашего кино начиналась и продолжалась, как вы убедитесь позже, в полном соответствии со своим названием — «КАЖДЫЙ ВЗОЙДЕТ НА ГОЛГОФУ».

А начался мой путь на Голгофу, или второй поход за славой, в один из приездов режиссера Булата Мансурова. Первый был с Яссаном в Санкт-Петербурге. Тогда мы с Эрнестом написали сценарий по моей повести «НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ» и взялись за работу над картиной. Вдруг все остановилось: закончились деньги, эти проклятые зеленые бумажки...! Пора было кричать «Караул!», вот-вот могли остановиться съемки, а возбужденный Эрнест доказывал мне: не имела права Алтынай уезжать, оставив Анвара одного! Он никак не мог принять мой сценарный отъезд героини.

После «Ленфильмовского» провала я очень хотел сделать кино, и вот завязался долгий разговор с Мансуровым. Булат читал роман и, казалось, был захвачен его историей. Мы стали обсуждать совместное финансирование проекта, однако он сразу же выдвинул мне условие.

— О кей! — сказал Мансуров, — я дам тебе денег, но режиссировать будет мой друг Рустам Одинаев.

Я был знаком с Рустамом и знал его как художника. В кино и в жизни так бывает, что если человек талантлив, то талантлив во всем.

Мы обговорили с Мансуровым детали и ударили по рукам. Настроение было превосходным, как же, известный режиссер дает на картину половину денег и обещает ей, еще не снятой, экранное время.

— Как молоды мы были, как искренне... любили! — поется в известной песне, с небольшой разницей в моем случае, я искренне верил!

Итак, уверовав, я начал подготовку или полет в безумие, а точнее, восхождение на Голгофу!

Я с удовольствием забросил свой процветающий сигаретный бизнес, приносивший ежемесячно десятки тысяч долларов. Мне давно до смерти надоели хапуги из таможен, дурацкие просчеты цифр, при словах рентабельность, менеджмент меня выворачивало, при мысли, что так пройдет жизнь, становилось тоскливо. Теперь же я с упоением занимался пробами, утверждал актеров, костюмы, оружие, пиротехнику и было ощущение, что нахожусь в жерле булькающего раскаленной магмой вулкана.

Рустам был в Москве, вся подготовка легла на мои плечи, во все приходилось вникать на ходу. «Казахфильм» пребывал в затыжном кризисе, кино не снималось, специалисты разъехались в поисках работы.

В таких условиях, стихийно пришлось формировать съемочную группу. Мне рекомендовали незнакомых людей, я беседовал с каждым в отдельности, и если находили взаимопонимание, подписывал контракт.

Атмосфера офиса напоминала разбуженный улей, гудевший от яростных споров, сигаретный дым висел рваным облаком, и когда я оставался наедине с собой, обхватывал голову руками. Сотни, тысячи вопросов нависали дамокловыми мечами, и главный, конечно же, оставался финансовым.

В такой безрадостный вечер в кабинет вошел Руслан Молдахметов, друг моего погибшего друга Абая и... недруг? мне. После трагической истории, когда я потерял близкого мне человека, многие, в том числе и он, склонны были недолюбливать меня. В тот день мы веселились, ничто не предвещало беды, и кто мог подумать, что такое случится?

Абай уехал на новеньком «Мерседесе», полный сил и энергии, новых планов, задумок. Черная «БМВ» смертоносной торпедой настигла его и разорвала на клочки наполненный планами цельный, любящий человечество мир Абая Мырзахметова.

Это была наша первая встреча с Русланом, после того как не стало нашего великого друга. Переступив через свою неприязнь, Руслан выписал чек на крупную сумму.

— Кино очень нужно Казахстану, — проговорил он, не подозревая, что больше всего в тот миг мне хотелось напиться и рыдать, оплакивая утрату.

Это была жестокая правда жизни!

Воистину сказано, пока не войдешь в воду, не намочишь ног! Мои беды продолжались. До последнего дня я не знал, кто будет оператором, даже теперь при воспоминании о тех днях меня бьет озноб.

В окрестностях Семипалатинска необходимо было построить декорацию сталинского лагеря, и я отправил в Канонерку смешного киношника Серегу Доттера.

— Езжай... через две недели барак должен быть построен.

— А как насчет денег? — робко спросил Серега.

— Денег нет. Тебе помогут мои друзья. Они дадут лес, доски, гвозди, технику, и чтобы к приезду группы все было готово...!

— А как я буду платить людям? — осмелился вымолвить упрямый Доттер.

— Ты что такой непонятливый? — возмутился я. — Скажешь, что деньги им заплатят по приезду группы. Я тебе обещаю это!

Доттер уехал, а я с дьявольским упорством продолжал готовиться к экспедиции.

Обещания банка финансировать проект принимали все более расплывчатые формы, Мансуров заявил, что надо снять пару серий и тогда он пробьет деньги.

— О кей! — сказал я, убеждаясь в том, что спасение утопающих — дело рук самих...!

Все требовали от меня денег. Что-то нужно было докупать костюмерам, гримерам необходима была кровь, я говорил им несуразные вещи, приводя в тихий ужас. Пиротехникам требовались думы, я отвечал, что будем использовать костры. Группа переглядывалась между собой, их безмолвные взгляды говорили — сумасшедший!

Однако я экономил на всем, твердо зная лишь одно — надо снять!

Перед глазами стоял образ Урбанского в кинофильме «Коммунист». В пустом лесу он валил лес и один двуручной пилой распиливал его на дрова, чтобы двинуть с места чертов

66135-1-6325

паровоз... Это давало мне веру и я понимал, что только своим фанатизмом могу увлечь за собой людей...

И вот наступил день, когда шумная группа собралась на перроне, и я впервые увидел Рифката.

Оператор только что прилетел и попал, как говорится, с корабля на бал. Худенький, в коротенькой дубленке, с шарфом, обматывавшим шею, с черными волосами и большими творческими глазами. Обмен взглядами, рукопожатие и уже между нами протянулась незримая нить. Ругаясь с проводниками и бригадами, мы с боем сели в поезд.

(Оказывается, наш директор не оплатил багаж...)

Но вагон уже тронулся, унося меня к мечте!

В купе Риф взял сценарий и стал читать, это была его первая читка. Вяло полистав, затеял пить водку, и ему стало не до сценария.

Я буду просить прощения у читателя за отступления в предысторию, а, может, и в свое прошлое, если в этом возникнет необходимость.

Но как я описывал выше: мы уже в Семипалатинске, идет снег, и началась пристрелка боем.

На улицах Канонерки темно, ругаясь матом, бродят пьяные мужики, под ногами чавкает грязная, снежная каша. Мы с Рустамом шли вдоль улицы, разыскивая дом, в котором поселился Доттер. У подгулявшего парня я спросил, не знает ли он, где живет киношник из Алматы?

— Серега, что ли? — обрадовался тот, точно мы спросили его о родном брате.

— Конечно, знаю! Где-то здесь...

Обходя лужи, я стал заглядывать в светящиеся окна домов, и вдруг в одном увидал Сталина, вернее, его огромный портрет. Этот портрет для картины должны были нарисовать семипалатинские художники.

Отец народов стоял на полу перевернутым вниз головой и взирал с глубокой укоризной. Я заорал во весь голос: — Нашел, нашел! — призывая Рустама.

В передней мы наткнулись на качающихся из стороны в сторону деревенских мужиков и нашего бедного Доттера.

— У меня сегодня день рождения! — заплетающимся языком объявил декоратор.

— Поздравляю, Сергей, но сейчас не до этого, надо снимать... — тогда я не знал, что у Доттера в году пять дней рождения, а иногда и больше...

— Зачем ты портрет вождя на голову поставил? Раньше бы тебя, Серега, за это расстреляли... — грустно произнес Рустам.

Развозя под колесами снежное месиво, мы поехали к строящемуся бараку. Работы по строительству там только начались и практически еще ничего не было готово, если не считать оббитых грубыми горбылями стен.

— Сергей, если через два дня барак не будет готов... — пропихнул я, закипая от злости, — ты нас всех подставляешь, нам армию для массовки дают всего на трое суток.

Но люди отказываются работать без денег, — взмолился Доттер.

Деньги будут оплачены по факту сдачи объекта. И кроме барака, с завтрашнего дня приступай к строительству вагона для заключенных. Сделаешь все вовремя, я тебе потом орден выдам!

Да не нужен мне орден, — бормотал несчастный Серега, обескураженный так, что остатки хмеля вылетели у него из головы.

Следующий день группа снимала сценку побега, в которой на героями должны были гнаться злобные овчарки и, догнав, рвать их на части. Но проклятые собаки разбегались в разные стороны и мы, взмыленные, гонялись за ними по снегу, проваливаясь по пояс. Актер Шемес втягивался в роль молодого Туза, дубли стали выравниваться, а затем ночь напролет снимали эпизод, где герои попадают в засаду. Следуя традиции, разбили фарфоровую тарелку, группа разобрала осколки на память, мне не досталось. Трудности возникали одна за другой, помещение, выбранное нами, не соответствовало. Установка света из-за тесноты занимала много времени, но актеры вошли в раж, и я видел, что они затравились. Рустам уверенно командовал, где надо ставить камеру, расставлял мизансцену, и я поверил, что будут первые фрагменты кино.

Позже, когда картина будет продана, я прочитаю в книге Александра Митты: режиссер должен показать, куда ставить камеру и после этого улыбаться, улыбаться, улыбаться, делая вид, что только он один знает, как необходимо снимать, и с улыбкой вспомню Рустама в ту ночь.

А в ту ночь старшину-НКВДэшника замечательно играл актер семипалатинского театра Иванов. Мне запомнилось, как он в кадре аппетитно поедал реквизит – квашеную капусту, брал ее руками, громко хрустел, у других просто слюни текли. Было далеко за полночь, группа еще не ужинала, и ассистентка Галка в истерике шептала мне на ухо:

– Что же он, гад, делает? Надо остановить его, капуста последняя, а кадр еще не снят!

Итак, в то время как старшина ел отварную картошку, актеры, игравшие Туза и Каратаса, по мизансцене голодные лежали в углу со связанными руками. Впереди была сцена, где они, прикончив красноармейцев, набрасываются на еду.

– Рустам, давай сейчас снимем эту сцену, – упрасивали они в отчаянии. И особенно смешно было наблюдать за ними, когда позже, в самом деле оголодавшие, в кадре ребята буквально растерзали остатки реквизита.

Утром следующего дня крупными хлопьями валил снег, группа выехала снимать выгрузку этапа. В заброшенном железнодорожном тупике из нескольких старых вагонов наш Сергей сотворил теплушки сталинского времени. И вот один за другим, надрывно передвигаясь, стали подъезжать военные автомобили, набитые солдатами – массовой. Вскоре на небольшой площадке некуда было упасть камню. Нужно было переодеть около полторы сотни в костюмы заключенных, и наша бедная Ира, единственный костюмер, разрывалась на части. Она сорвала голос и в конце шипела на солдат, точно злая ядовитая змея. Часть воинов одевала в эков, другую в ВОХРовцев. Крик и гвалт стояли на площади. Из питомника привезли собак, пиротехник Валера стал раздавать ВОХРовцам трехлинейки. С большим трудом удалось выстроить неуправляемую массу и поставить ей задачу. Я с ностальгией вспомнил про дисциплину в десантных войсках во время моей

службы, о ней мне придется еще не раз грустить за время съемок. Наконец, стали снимать. Костюмы заключенных были новые, неотфактуренные, пришлось ограничиваться общими планами. Я жутко переживал, что генерал передумает, и мы останемся без массовки. Угроза была реальной, объяснил это режиссеру, оператору, они согласились со мной и стали снимать быстро, без проволочек. Вскоре сцена была снята, при помощи командиров я быстро рассадил солдат в машины, собрал группу, и мы выехали в сторону Канонерки. В пути нам удалось снять проходы и пробеги этапа. В тот день я набегался в лесу по колени в снегу.

Наших заключенных гонят бегом по тайге, выпавших из строя травят собаками, пристреливают. Мы движемся в направлении старой разваленной церкви, чудом не разобранной. В кадре этап проходит мимо нее под захлебывающийся лай собак, а у купола, на поваленном кресте, ухмыляясь, стоит вооруженный вертухай и наблюдает за человеческим стадом.

Снято? Как получилось? – спросил я у оператора.

Нормально.

И вот мы в Канонерке, где выстроен вход в зону и барак, здесь группа проведет незабываемых четверо суток. С шумом и гамом выгружаются солдаты.

Было спланировано отснять вхождение этапа в зону, как неожиданно возникла новая проблема. словно черную весть, принес ее мне все тот же Доттер.

- Там мужики с вилами, они говорят, что снимать не дадут и сожгут барак, если не выдадим денег за работу, – огорошил он меня.

Группа, не ожидавшая экстремальной ситуации, растерянно переглядывалась.

– Где они? – я был возмущен жестким ультиматумом.

По извилистой тропке в сугробах Доттер вел меня к забору, за которым бушевали пьяные канонерские мужики. В настоящем сосновой хвоей морозном воздухе слышался предшествующий мятежу рокот, и округа переполнялась выкриками угроз. Завидев меня, мужики насторожились и, подняв вилы, придвинулись, обкладывая со всех сторон.

— Чего шумим? — я сделал вид, будто не знаю причину ажиотажа. На мгновение мой вопрос сбил их с толка, мужики остались стоять с открытыми ртами. Но уже через секунду тонкий провоцирующий голос взорвал повисшую тишину.

— Не заплатите денег, сожжем барак!

И тут же толпа: два десятка небритых, злых мужиков, подталкиваемые бабами, заволновалась и двинулась с места.

— Это их главный!

— Как всегда, нас кинут!

— Они не хотят платить!

— Серега! Мы тебе поверили! Эх ты!

— Бей его! Бей крыс! Крыс! Крыс! Крысы!

Омерзительные, копошащиеся, пищашие гады с длинными хвостами! Я видел их в один миг, столько...! Глухой темной азербайджанской ночью я стоял на боевом посту, охраняя парашютный склад. Из прохудившегося неба холодными перевернутыми струями летел дождь. Военная плащ-палатка промокла насквозь и, напоминая пропитанную кровью плащаницу Христа, тянула к земле. Черные окна столовой напротив манили к себе, искушая пересилить страх, нарушить устав.

Они обещали тепло и сухость. И я совершил воинскую провинность. Я оставил пост. В столовой действительно было уютно, дождь, стучавший за стеклом, призывал окунуться в далекие воспоминания гражданки. Под их барабанившие по жестяному подоконнику струи хотелось мечтать о красивых девушках, которые обязательно будут, о романтических путешествиях, о любви, чистой, как горный хрусталь!

Я только заступил на пост, впереди было два полных часа. Я составил две длинные лавки и улегся, положив на грудь «калашник». В голове замысловатой вязью написались первые фразы стихов...

Я тогда был влюблен! Она была прекрасной, самой красивой девушкой на земле. Ее руки казались струями прозрачной воды, текущими вдоль хрупкого стана. В ее глазах можно было раствориться. Они были черными, как та ночь. Ее бархатные, длинные ресницы в миг, когда она прикрывала глаза, напоминали опахала. Что за счастье привалило мне,

ридовому солдату? Конечно же, я не мог не мечтать о ней в то мгновенье!

Я уснул, точно вор, ускользнувший от преследователей. И вдруг почувствовал на себе чьи-то прилипчивые взгляды. Я поднял веки. На кромках столов, нависших надо мной, в ряд выстроились сотни жутких, молчаливых, грязных комочков. Это были крысы! Они готовились броситься на меня и ждали какого-то внутреннего, известного только им сигнала. Их было столько, что если бы они кинулись, то растащили бы меня в один миг, волоча внутренности по бетонному полу. Сердце перестало биться, кровь толчками забилась в жилах. В минуту смертельной опасности я сделался хладнокровным, расчетливым, точно машина. Патрон давно уже скучал в нарезном стволе. Я бесшумно сдвинул флажок предохранителя. Спусковой курок точно улегся под палец. Я соскочил с места. И в этот миг они прыгнули.

Они пронеслись по мне, точно безумный табун. Я почувствовал их отвратительные лапки у себя на лице, плечах, груди... и от ужаса нажал на курок. Длинная автоматная очередь грохотнула в пустом зале столовой, забилась судорожным эхом и заметалась от стены к стене. Крысы скакали по бетону, устремляясь в окно выдачи пищи. Гул стоял такой, точно бежала рота солдат.

Я включил фонарь и, превозмогая набегающую тошноту, шагнул в посудомойку.

Они были везде! Их было не счесть! Они шарились по пустым бачкам, в котлах, где готовилась еда для солдат. Я почувствовал, как на выбритой голове встали дыбом несуществующие волосы.

Если и есть что на земле отвратительное, так это крысы, ребята! Они ненавидят людей всем своим существом, чуя наше отвращение к ним! Потому человеку можно простить его проступки, только бы они не были крысиными!!!

И вот эти люди, впервые видевшие меня, так обидно сравнивали... Позже они поймут, что напоролись, а в тот миг...

Боковым зрением я видел, как бедный Доттер, размахивая руками, что-то пытается вразумить им, в снег упали его роговые

очки с треснутым стеклом. Лютое бешенство охватило меня. Вложив сжатые пальцы в рот, я свистнул так пронзительно и громко, как свистел только пушкинский Соловей-разбойник.

— Ти — и — и — хо!

Измученные мужики остановились как вкопанные, враз замолчали, и от неожиданности опустили вилы. Панорама взгляда осветила небритые лица с красными от злобы глазами и смятые от безысходной деревенской жизни лица жен с уставшими, запавшими глазами. Я успел подумать о том, что если бы они не пришли, мужи, получив драгоценные мани, пошли бы пропивать их и обсуждать за мутным самогоном, какого они нагнали страха. Мысли вихрем пронеслись в голове. Уже через мгновенье я стал орать на злыдней и наступать на них, отчего они сдали назад.

— Вы что себе позволяете? Хотите вилами напугать меня? А машины с солдатами видели? А вы знаете, сколько у нас винтовок и патронов? На всю вашу гребанную деревню хватит! Кто вам сказал, что мы не станем платить? Мы же только приехали. Еще из машин не выгрузились...!

Я хорошо знал инстинкт толпы и видел, как озадаченные мужики чешут бороды, в смущении пряча вилы за спину.

— Если хотите получить свои лавэ, всем сейчас выстроиться в одну колонну и в порядке очереди подходить к автобусу. При себе иметь ксиву, — от злобы я перешел на блатную феню.

— А у нас ни у кого нет! Мы еще не получали! — вновь заволновались мужики.

— Черт с вами! Получайте так! — махнул я рукой.

— Я же говорил, мужики! Я же говорил, а вы не верили! У нас все честно! — едва не плача, бил себя в грудь кулаком бедный Доттер, не отошедший от нервного шока.

Толпа, словно волна, отхлынула, и послышались крики:

— Ты за мной!

— Это ты, блядина, за мной, я впереди Федьки стою!

— Ах ты, свиное рыло, ну-ка умри, а не то...!

Осознав, что бунт погашен и можно возвращаться к группе, я зашагал по тропке, а забегающий сбоку Доттер продолжал оправдываться:

— Теперь вы видели, теперь вы все видели!

* * *

Сцену «Вход этапа в зону» сняли на удивление скоро. То ли мороз продрал солдат до костей, то ли отцы-командиры дали им нагоняй, только бойцы, игравшие колонну заключенных, сбились в строй быстро. Еще немного времени заняло расставить по обе стороны колонны, ВОХРовцев с собаками на поводках и эков, под стылый звон колотушки стали загонять в лагерь. Я стоял сбоку от оператора и глядел, как шелкая зубами, рвутся с поводков свирепые псы, пытаюсь вырвать кусок человеческого мяса, чтобы проглотить его.

Все перемешалось: звон колотушки об рельс, лай собак, клацанье затворов, злобные крики ВОХРовцев, стоны и топот многих ног. Эта картина потрясла меня настолько, что я забыл о кино и в ту минуту каждой клеточкой своего тела ненавидел ВОХРовцев, репрессии, Гулаг, Берию и вождя народов.

В своей жизни сам я, зараженный бациллой коммунистической пропаганды, в детстве прочитавший «Как закалялась сталь» Островского, распевал «Там вдали, у реки» и по ночам рыдал от отчаянья, что не успел вместе с Корчагиным строить узкоколейку. Точно слепой котенок, долгие годы я блуждал в поисках истины и позже, столкнувшись с системой, был поражен ее безжалостным отношением к людям.

Так вот, несчастных заключенных, одетых в невообразимые лохмотья, рвали псы, били прикладами и гнали пинками, сытые, довольные судьбой ВОХРовцы. Мне казалось, что густое облако человеческого горя повисло над Канонеркой, и без того несчастной от беспросветного существования. И еще я подумал о том, что для ее жителей воспроизведение тех страшных лет может послужить точкой отсчета к чистому, хорошему.

Я уже говорил, что намерзшиеся солдаты — массовка, в надежде быстрее попасть в барак выполняли команды добросовестно. Я слышал речи о жарких буржуйках и возможности отоспаться на нарах. Однако каково было их уныние, когда они обнаружили в громадном продуваемом бараке всего две печи. Я расположил их на нарах, покрытых жидкой соломой, усилившийся к ночи морозец стоял градусов под тридцать. В бараке было не меньше минус двадцати. Можно представить

себе панораму из лежащих вповалку сотен людей и вздымающиеся к потолку, крытому необрубленными жердинами, тонкие струйки пара из многочисленных посиневших ртов.

Володька Северный, человек с землянистым лицом, точно изъезженным гусеничными траками, на котором, наблюдая за происходящим, из глубоких морщин цепко выглядывали два настороженных глаза. Его подвел ко мне Доттер, уважительно отрекомендовав как старого зэка, и при этом сам замирал от произносимых слов.

– Сидел, Володька? – спросил я.

– Конечно!

– Где, если не секрет?

– Да фули ты, братан, в натуре, какой здесь секрет! У ментов вся картотека на меня есть. Где я только не сидел, в Магадане, на Колыме чалился, весь Север прочапал и оттого меня прозвали Северный.

– Снимешься у нас?

– Про че кино-то?

– Про таких, как ты.

– Братву снимусь, мусора – не канает по жизни.

– Конечно, братву. У тебя лицо хорошее...

Северный оглянулся посмотреть на тех, кто слышал мои слова и погладил себя по щеке.

– Рожа как рожа. Каторжанская.

Он вдруг развеселился, хлопнул себя по боку и протарабанил:

– А наливай-ка! Я те сыграю, хай будет, може, кто увидит из однохлебников старых, вякнет: ну нищтяк, Северный загулял, в артисты попал!

Я достал бутылку и налил ему полный стакан.

– Пей!

Он глотал, острый кадык ходил точно поршень в цилиндре, и большой граненый стакан мгновенно опустел. Володька крикнул, приложил к перерубленному носу рукав овчинного полубка и стал переодеваться.

Новая проблема не заставила себя долго ждать, она выросла буквально как только мы вошли в барак, и стала глобальной, почти неразрешимой. Актеры-эпизодники, занятые в игровых

сценах, оказались свободными лишь с вечера до утра, все последующие дни они были задействованы в премьеры и постановках спектаклей в своем театре. Деваться было некуда, после недолгого совещания мы приняли решение отснять в первую очередь эти сцены.

Начали гримировать их, переодевать второй план, как ко мне, требуя невыплаченного филажа, прицепился человек, назвавшийся электриком, и не было времени сказать ему пару ласковых.

Все-таки он достал меня, и я повернулся в его сторону. Я увидел лицо, какое не найти, даже если бы его искали десятки ассистентов!

Измощенное, с пустыми выцветшими глазами и вваленными щеками, оно меня поразило!

Я поволок сопротивляющегося, не понимающего, что происходит, мужика к костюмеру, выдернул из мешка черный матросский бушлат, тельняшку и, срывая с него робу, приговаривал, точно умалишенный:

— Филки, филки! Тебе, можно сказать, раз в жизни дается возможность сняться в кино, будешь внукам показывать, и они станут гордиться тобой...

— А какая будет роль? — неожиданно спросил электрик, поражая готовностью к творчеству.

— Замечательная роль, ты даже себе не представляешь! — бормотал я, впихивая его в тельник.

Он уже смотрелся как заправский моряк, отправленный в лагерь страдать за утонувший крейсер, и как только Ира нахлобучила ему на голову блатную восьмиклинку, мгновенно вырисовался жиган, канающий под моремана.

Сраженный открытием, насколько одежда создает образ, я взял его за руку и точно ребенка повел к Рустаму.

— Рустам! Он уркаган из окружения Туза.

Рустам даже не взглянул на мое открытие:

— Проходите, пожалуйста, вон те нары теперь будут вашими!

Я чуть было не грохнулся от смеха на земляной пол. Приведи я за руку переодетую обезьяну, Рустам не изменил бы своей сакраментальной фразы.

Он так мягко предложил несчастному электрику холодные деревянные нары, что меня передернуло от его цинизма, и я поехал при мысли, что такие же, безразличные к чужой судьбе, отправляли людей на длинные сроки и предлагали это столь же вежливо, даже с ноткой участия в голосе.

Однако Рустам не обратил внимания на подобную мелочь, целеустремленно продолжая ставить задачу, и со стороны казалось, что это не он вовсе, а дьявол в его обличье.

— Он — ваш пахан, — говорил он, показывая на актера Шемеса, — вы — его шестерки, вы здесь самые главные, вы играете в карты, а он...

Рустам показал на актера, который должен был сыграть роль наглого шестерки.

— Он подойдет сейчас к Каратасу — политическому, бросит ему портянки постирать, а Вы, Каратас, соскочите, нанесите шестерке удар рукой и сразу набрасывайтесь, выдавливайте ему глаза, до тех пор, пока не вырвете их полностью, до команды «Стоп». Он Вас очень сильно оскорбил, Вы не можете простить ему это!

Среди уркачей оказались ранее сидевшие, они вдруг зашумели, стали возмущаться, не желая отдавать собрата на заклание.

— Пусть только попробует, мы его на куски порвем, век свободы не видать! Еще не хватало, чтобы фраер уркачам zenки вытаскивал!

Я увидел настоящую способность людей мгновенно сбиваться в кучу и разделяться по принципу: свой — чужой. Даже в кино урки не хотели, чтобы вражина народный посягал на их братка.

Всю эту сцену мы планировали снять одним планом, долго репетировали и не заметили, что актер, игравший Каратаса, припил для сугрева водочки и, пригревшись, уснул. И вновь не обошлось без эксцесса.

— Мотор! Начали!

«Шестерка» вальяжно подошел к разбуженному, еще не протрезвевшему Каратасу, склонившемуся у изголовья своего больного командира, и презрительно швырнул ему портянки с приказом выстирать их. Никто глазом не успел моргнуть,

как продрогший злой актер, по-настоящему озверев, со всей силы треснул шестерку по челюсти и стал выдавливать рухнувшему на пол глаза. «Шестерка» орал тоже по-настоящему от невыносимой боли, не понимая, почему актер причиняет ее, и вся группа в ужасе переглядывалась, но никто не сдвинулся с места, до тех пор, пока Рустам не крикнул «СТОП!»

Надо было видеть, с какой яростью вскочили со своих мест уркачи, игравшие в карты, их руки точно змеи скользнули к голенищам сапог и через мгновение выхватили острые финки.

– Ша, сьвки! – крикнул «пахан», директор магазина «Охота» Валера Зубов.

Он заслужил право на жизнь, пусть живет, пока!

– Стоп! Стоп! – замахал руками Рустам.

– Вы потом захотите его зарезать!

Рустам вошел в раж и просил уркачей резать Каратаса чуть позже, чтобы успеть переставить камеру.

Это происходило в насквозь продуваемом бараке в три часа ночи.

Массовка, прижавшись друг к другу, мирно спала. До рассвета оставалось еще пять часов, и мы приступили к репетиции сцены «Карточная игра».

Актеры-эпизодники второй план работали быстро, собранно, возможно, на них давил холод, лютовавший в бараке и понимание необходимости отыграть эту сцену.

На дощатой стене над нарой «урки» Туза необходимо было прикрепить древнее ватное одеяло, предназначенное подчеркнуть его особый статус. Огромными пятнадцатисантиметровыми гвоздями Доттер принялся приколачивать его, и вся группа, потеряв дар речи, с удивлением наблюдала за происходящим. И только Рустам с присущей ему невозмутимостью спросил:

– Сережа, нет ли у тебя гвоздиков покороче?

Увлеченный Доттер ответил просто, незатейливо:

– Нет!

Итак, начали снимать. Все шло как по маслу. Осветители споро переставляли свет, Рустам работал с актерами, мизансцена разворачивалась, и удивительный мир кино задышал в выстроенном бараке забытой богом деревни. Работала камера,

в кадре писался живой звук, тишину разрывал храп сотен человек и потрескивание дров в буржуйках. Пришедший с новым этапом жиган по кличке Артист, желая взять власть в бараке, предложил королю урок Тузу сыграть в карты. На кону были две жизни, если проиграет Артист, по закону Туз должен убить его, и в случае проигрыша Туза урка примет смерть из рук кровожадного Артиста.

Артиста сопровождали два страшных зэка: дикий горец в черкеске и гигантского роста бандит с вытатуированной на лбу надписью «Тюрьма — дом родной!»

Началась долгая игра, психологически давившая и актеров, и группу.

Первую раздачу выиграл Артист, сторонники Туза впали в отчаяние, они понимали, что в случае смерти их пахана им всем не жить. Вторую отыграл Туз, нервы у обеих группировок натянулись до предела, и это незримо передалось на группу. Туз потребовал от Артиста сменить колоду:

— Поменяем стирь, имею право требовать! — заявил он.

— Чья будет колода? — шепотом спросил Артист.

— Вытянешь на фарт!

Володька Северный накрыл две колоды грязной тряпкой и, манипулируя кистями, смешал их. Артист сунул руку под материю и долго шупал то одну, то другую.

— Не мадай! Тяни! — потребовал Туз. Артист вытянул колоду и раскидал третью партию. Игроки прикоснулись к картам осторожно, точно это были змеи, члены группировок следили за ними, затаив дыхание, и тут на хищном лице Туза расцвела ядовитая улыбка.

— Эх, масть моя родная, мама, — выдохнул Артист.

— Масть — продажная шлюха, — произнес Туз и швырнул стирь на перевернутый ящик.

Рука Артиста потянулась к голенищу и выхватила острую финку. Но Туз на то и был королем урока, и он не зевнул.

В одно мгновение он выхватил из-под матраса длинную обоюдоострую стальную полоску и полоснул ею по горлу врага.

— Режь жиганов! — выкрикнул он клич и устремился на сторонников еще не понявшего, что он уже убит, Артиста.

– Стоп! Стоп! – закричал Рустам, обезкураживая группировку Туза, жаждавшую немедленной расправы над пришлыми жиганами.

– Все хорошо! Все хорошо! Давайте еще дубль! Все по местам.

Когда, наконец, была снята кровапролитная сцена битвы между уголовниками, кто-то распахнул дверь на улицу и в барак ворвался густой зимний утренний свет.

Я глубоко втянул в себя морозный воздух и выдохнул, трудная сцена осталась позади.

У весело полыхавшей буржуйки спиной ко мне стояло несколько человек, среди них толкался народный артист Толоконников и выпрашивал у провинциальной актрисы автограф. Актриса была переполнена гордыни и на настойчивую просьбу Толокоши ответила резко:

– Я кому попало свой автограф не раздаю!

Нало было видеть лицо Толоконникова, сыгравшего в культовом «Собачем сердце». Он не находил, что ответить, и обычно скандальный, лишь молча хлопал глазами, с таким видом, будто его «Собачье сердце» остановилось.

Начался день второй.

Половина группы, съездившись, дремала на нарах и пробужденная «массовка» оттирала красные глаза. Послышались голоса офицеров, строивших их на завтрак. Уезжать в Семипалатинск не имело смысла, день оказался бы потерян, и к моей великой радости группа решила снимать дальше.

В город выехали актеры из окружения Артиста, но автобус сломался на трассе и они, «голосуя» в игровых костюмах, остановили «Жигули».

Актер, игравший горца, в игровой черкеске, с гигантом, у которого забыли стереть татуировку, уселись на заднее сиденье, и бедный водитель всю дорогу вжимался от страха в сиденье.

Теперь по прошествии времени и не вспомнить, чем кормили группу, кажется, мы ели из солдатского котла. Сухой закон, объявленный мною, давно дал трещину и оставался лишь для формы, соблюдать его было невозможно.

Оставив эту формальность, мы с Рустамом и Рифом за завтраком выдули бутылку коньяка.

Из города приехало одиннадцать человек «моржей», предстояло снять эпизод с застывшими на морозе обнаженными человеческими телами. На Севере, в зоне вечной мерзлоты, умерших зимой не хоронили. Их складывали штабелями у входа в барак, и они служили «ГУЛАГу» последнюю службу в качестве устрашения. Я уже говорил, что стояли морозы. «Моржи» потребовали водки, ее у нас не было, и тогда, раздевшись донага на глазах у всей группы, я лег на снег.

Я лежал один, ожидая, когда их проймет совесть. Наконец они гуськом потянулись из дверей барака и стали укладываться рядом со мной.

– Как снег? – спрашивал меня кто-то из группы.

– Нормальный..., только колючий, – отвечал я, выбивая зубами морзянку. Руки и ноги дергались от судороги, казалось, что промерзли все мои кости, но рядом корежились «моржи», и это давало мне силы.

Наш «второй» Ибраев, дождавшись, пока уляжется первый ряд «трупов», принялся укладывать поверх другой, и дышать стало невыносимо трудно.

Мы едва дотерпели, пока нас засыпят снегом, Рифкат долго снимал, затем стал менять точку, а группа шутила:

– Риф! Они и вправду синие, как покойники!

Наконец послышалась команда: – Стоп!

Верхний ряд «трупов», охая и ахая, стал отползать в сторону дверей, нижний без посторонней помощи не мог подняться, и когда я взглянул на свое тело, оно было темно-фиолетового цвета.

Так сильно, до костей, я промерзал в своей жизни трижды. Первый раз в Якутии, где валил вековой лес и добывал золото. Второй раз – на этапе, в ледяном чреве «автозака». В третий – когда купил дом в городе Кокшетау.

Все три истории занимают немало мегабайтов в моей памяти, они занятные, потому я возьму на себя риск и расскажу о них читателю.

На Север я попал, погнавшись за длинным рублем. Это было во времена, о которых пел Владимир Высоцкий: «Когда

срока огромные, брели в этапы длинные», и страна, в которой мы жили, еще называлась СССР, простираясь от Дальнего Востока до Прибалтики.

С самого детства мною двигала неутолимая жажда приключений, возможно, повлияли книги Джека Лондона. Рано оставшись без отца, я много путешествовал, после армии собрался строить олимпийскую деревню в Москве, потом на «БАМ», перегонял гурты скота из Монголии, и вот попал на Крайний Север. Помню, когда я вышел из самолета в Полярном, температура была ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Плевки застывал, не долетая до земли, мне хотелось вернуться на борт самолета и «бежать» оттуда без оглядки. Но я решил остаться. Потом мы летели до Верхневилуйска, в открытом кузове добирались до Намцов и на нартах, запряженными быстрыми оленями, до леспромхоза. Началась моя северная эпопея, в которой было много смешного и трогательного.

Мы валили лес на деляне, проводя целые дни в тайге, и затем собранные букетом «хлысты» вывозили по зимнику в поселок.

Однажды, вгрызаясь «Дружкой» в толстенный комель ели, я услышал жуткий крик и, проваливаясь по пояс в снег, бросился на помощь. Верхом на человеке, терзая его так, что летели ошметки полушубка, сидела крупная, желтая рысь. Мужчина извивался от боли, пытаясь сбросить с себя непрошенного седока, и ревел на всю округу. Маленькие ушки зверя на конце были темного цвета и плотно прижаты к голове, лишь черные кисточки на них стояли торчком. Всего на долю секунды я столкнулся взглядом с зелеными глазами хищной кошки, в них светилась ярость и они точно предупреждали меня: не лезь не в свое дело!

Эта неумная свирепость в ее зрачках словно подсекла мои ноги, я споткнулся и в падении со всего маха резанул по спине хищницы, распиливая ее напополам. Белый снег в одно мгновение окрасился звериной кровью, ошалевший от страха мужик на четвереньках полз куда-то прочь, и выпущенная из рук пила продолжала с бешеной скоростью вращать красную цепь. Эта картина и по сей день холодной синей льдяшкой плавает в моей памяти, словно в проруби. Позже незадачливый

мужик расскажет о моем подвиге лесорубам, но к моему удивлению его рассказ лишь терпеливо выслушали. Тогда я понял, что этих суровых людей не пронять подобными историями, и, благо, он выставил мне бутылку медицинского спирта.

О Севере всегда хочется писать.

Зимние морозы, безумно красивая тайга. Там живут сильные люди, слабым не выдержать. Север, он точно высокий тест на прочность. Он притягателен безмолвными, сливающимися с горизонтом стылými льдами Заполярья. Раскинувшейся, будто сама вечность, весенней зеленью тундры. Манящей летом от опушки к опушке, влекущей неповторимыми запахами, тайгой. Однажды побывав, его невозможно забыть. Он снится ночами, приходит во всей своей красе, суровый и ласковый. Я писал о нем в своей повести «Нести свой крест». В ней моему герою было одиноко и больно. Лишенный чистого мира свободы, оказавшись в среде, где необходимо ежеминутно держать кулаки сжатыми, он страдал. Вместе с ним страдал и я. Я писал эту повесть по ночам, при скудном камерном освещении, под зубовный скрежет ожидающих приговоров арестантов. Я хотел, чтобы он предстал перед читателем добрым, большим, но строки ложились безжалостные, и перо выписывало его жестоким. Я писал, и прятал под матрац желтые листки бумаги. Недоверчивый Валера Шахивев, «полосатик» с особого режима, спросил: — Что ты все пишешь? Не «куму» случайно?

Хотелось врезать в морду за необоснованное подозрение, но вместо этого я достал рукопись и подал ему.

— Это страницы будущей повести, сейчас у меня действия происходят на Севере.

«Полосатик» взял ее и принялся читать. Закончив, он удивленно посмотрел на меня и высказался так, что я этого никогда не забуду.

— Я сижу двадцать три года, кого только не видел, но с таким, как ты, сталкиваюсь впервые.

— Ты о чем? — я напрягся.

— Из какой книги ты переписываешь? — он подумал, что я рехнулся.

Я долго смеялся, но затем проговорил: — Ладно, ночью как «курятник» уgomонится, я сяду работать, а ты будешь редактировать.

Пришла долгожданная ночь, и узники улетели в своих тревожных снах на свободу, а я взял в руки «перо». «Полосатик» сидел за шахматами и, играя с собой, раздумывал над гамбитом. К утру, когда в коридоре началось брожение, я передал ему для читки несколько страниц. Шахив принялсЯ читать.

— Хочешь, я расскажу тебе собственную историю. Я на Севере много лет просидел, и люблю его по-своему.

Валера был сирота, дитя послевоенной страны, и воспитывался в детдоме. Позже его усыновила сердобольная литовская семья, и они дарили ему всю нежность своих больших сердец. Он со слезами на глазах повествовал об их необычайной доброте и бесконечно сожалел, что расстался с ними.

Его северные одиссеи весьма занимательны, и, может, я когда-нибудь расскажу о них. Но второй раз я напишу о Севере в рассказе «Одни сутки с Высоцким».

По телевизору в тот день шла передача о Великом Гражданине, и я рыдал, глядя в «ящик». Взял ручку и стал воплощать свою несбывшуюся мечту о встрече с ним на бумаге. Но когда я подумал: — А где же мы могли бы встретиться? Где-то на юге, на западе, на востоке? Нет! Только на Севере!!!

Потому что он безумно красив, и Володя мог бы прийти ко мне только там.

И только там, на Севере, могло приключиться такое, о чем тоже невозможно забыть, сколько бы не утекло времени.

В меня влюбилась красивая якутянка с нежным именем Татьяна.

Она была непосредственной, с большими раскосыми, изумрудными глазами, высокого для тамошних обитателей роста и мягкой скользящей походкой. Татьяна жила в поселке, знала всех леспромхозовских мужиков и прибегала сюда на лыжах. Ей недоставало общения, в поселке ей было тесно и, общаясь с лесорубами, она расширяла свой круг, восполняя житейскую несправедливость. Люди из больших городов казались ей загадочными, интересными, а незнакомые слова:

музей, метро, троллейбус, ресторан, швейцар — возбуждали ей слух, разжигали природное любопытство.

Ее диковатое лицо становилось еще прекрасней, оно словно расцветало и весь ее облик казался частичкой окружающей, буйной природы.

Она вошла в дом бесшумной походкой, лишь клубы пара, ворвавшиеся с ней, заставили обернуться ужинавших лесорубов и на их каменных лицах засветились улыбки.

— А, Татьяна! Проходи, проходи! Садись вместе с нами, поужинай.

Лесорубы задвигались, пришедшая легко скинула с себя меховую, расшитую бисером малицу, кто-то, смахнув рукавом с тарелки, стал накладывать тушеную оленину, ей подали мутный, граненый стакан со спиртом и при этом учтиво спросили:

— Ты как, чистый, или тебе разбавить?

Очаровательное дитя тайги обнажила в улыбке изумительно белые зубки:

— Вы бы об этом еще у Володьки Буряты спросили! Конечно, чистый, портить водой спирт...!

Лесорубы шумно рассмеялись.

— Да! Володька бы сказал, это ты точно заметила! Бурят бы сказал!

— Кто это, Бурят? — спросил я, не в силах удержать раздражающее любопытство.

— А вот у нее спроси. Она тебе лучше расскажет за Буряты. Кстати, познакомься, Татьяна, нашему полку прибыло!

Пришедшая едва только шевельнула густыми, точно еловые веточки, ресницами и по моему телу пробежала крупная дрожь. Мне показалось, что я всполохнул и загорелся в бесовском жарком пламени любви!

— Татьяна!

Я протянул ей руку и едва выдавил из себя имя, и не от того, что был робок с женским полом, было в ней что-то колдовское!

— Ты не знаешь Володьку..., он скоро выйдет из тайги.... а ты ничего, — выдала она мне комплимент, на который никто не обратил внимания, лесорубы с хрустом разгрызали мягкие кости оленины.

— У вас всего один стол. Отдайте мне этого парня, и я вам принесу еще один, — без тени смущения произнесла она.

— Пойдешь? — серьезно спросил меня бригадир.

— Да вы че, очумели, что ли?

— Смотри! Татьяна у нас разборчивая! Не каждого позовет, — спокойно объяснил мне он.

И, обращаясь к ней, добавил, точно попросил прощения за меня:

— Он еще дикий, не отошел от материка.

Прошло немногим больше месяца, Татьяна приходила еще дважды, потом вдруг исчезла, и однажды, когда я был один в пустой избе, она бесшумно возникла на пороге, точно ветерок скользнул в дверь.

На окнах лежали дивные, причудливые узоры, в печке мирно потрескивали дрова, в руки мне попался «Тихий Дон» и вдруг я решил срисовать иллюстрацию с Григорием Мелеховым и Аксиньей, чтобы украсить бревенчатые стены избы.

На ней Григорий, подбоченившись, едет на коне, Аксинья с игривой улыбкой глядит на казака, из полных, болтающихся на коромысле ведер, плещется вода. Я сделал увеличенную копию, она получалась великолепной, и внезапно захотелось понять, какими были без одежды Григорий и Аксинья. В голову пришла сумасбродная идея изобразить этих замечательных персонажей обнаженными. Работа спорилась, я оставил Григория без рубахи, затем штанов, убрал при помощи резинки сапоги и вскоре на гнедом коне восседал смуглотелый, крепкий, жилистый казак. Исчезла широкая юбка Аксиньи, с покатых плеч улетучилась белая сорочка и на ватмане явилась белокожая, пышнотелая кустодиевская красавица.

Ее груди оказались крупными, словно вызревшие кисти винограда, роскошные бедра точно колыхались в бесшумной поступи, и пушистый темный треугольник внизу мягкого белого живота, изогнутого в талии, невольно притягивал взор.

Я так увлекся своим искусством, что не заметил, как открылась дверь, кто-то, мягко ступая, вошел в избу и, склонившись над моим плечом, зачарованно разглядывал иллюстрацию.

Я почувствовал этот взгляд, свежее дыхание человека, стоявшего сзади и, обернувшись, увидел полные ревности раскосые глаза Татьяны, от бешенства покусывавшей губы.

— Тебе нравятся такие, да? — тихо спросила она. — Что в ней хорошего? Мое тело лучше! — заявила Татьяна безальтернативно.

— Ты не поняла, Татьяна, это же Шолохов, «Тихий Дон», это Григорий и Аксинья...

— Она тебе нравится, ты хочешь такую, да? — Татьяна внезапно скинула с себя малицу, затем так же решительно вязаный свитер, юбку и не успел я опомниться, как она представила моему пораженному взору обнаженное юное тело.

Черные, как смоль, волосы рассыпались по точеным плечикам, нежные, крохотные грудки вызывающе напряглись в острых розовых сосочках, тончайшая талия могла бы переломиться, если бы не упругий живот. Мой пристыженный взор метнулся обратно вверх, к лицу, испугавшись увидеть ее святая святых.

— Почему ты не смотришь, боишься? Мое тело красивей! — упрямо повторила она, ее зубы ослепительно блистали, словно алмазы.

— Оденься, вдруг кто-нибудь войдет, — попросил я испуганно и вышел из избы.

Я стоял на высоком крыльце, нервно курил, из распахнутой двери вышла Татьяна и, не глядя на меня, зашагала прочь. Природная грация и пластика изумительно сочетались в ее поступи. От темных елей на снегу лежали кривые безобразные тени, кругом стояла тишина.

В один из поздних вечеров, когда бригада, как всегда, ужинала, вошел маленького росточка мужичок, с винтовкой за плечом, крест-накрест перетянутый поперек малицы лентами с патронами, и кривым сломанным носом. Он напоминал таежного партизана времен гражданской войны, каких я видел в кино, и изуродованный нос лишь дополнял образ, нарисованный мной навскидку.

И опять, как в прошлый раз, когда приходила Татьяна, лесорубы задвигались, заерзали и засуетились, а длинный бригадир сдвинул меня плечищем, уступая край лавки пришельцу:

— Ато все спрашивают, когда Бурят из тайги выйдет?

Пришелец неторопливо, точно пребывал у себя дома, разделся, скользнул ногами, обутыми в мягкие чуни, к рукомойнику, тщательно умылся, провел мокрыми ладонями по седому ежику волос и с явным раскаянием в голосе промолвил:

— Уходил, Надька не разговаривает, молчит, ...обиделась, видно, что я ее оставляю... а на кого все бросишь... кто-то должен присматривать ...

— Ее тоже можно понять!

— Да твое никто не тронет, Володька!

— Кто знает! Нынче не те времена пошли.

Володька пил неразбавленный спирт, а я украдкой глазел за ним и по сердцу растекалось странное, неясное чувство.

Стого дня, как я впервые услышал о Буряте, мое воображение собрало мозаику лохматого богатыря, способного победить шатуна-медведя. А этот маленький, точно лесной гномик, человечек, конечно же, обманул все надежды. Но витающее в атмосфере избы уважение, если не сказать раболепие, лесорубов и незримый страх перед ним будоражили возбужденный мозг.

— Давно тебя не было?

— С прошлой зимы! — ответил Бурят.

— А в тот раз мы славно погуляли!

— Да! Если бы не Лосяра, было бы приятно вспомнить, я говорю всегда один паршивый волк портит всю стаю, — проговорил Бурят и при этом пронзительным взглядом осмотрел меня, точно взвешивая на своих, невидимых другом, весах.

— Да нет, Володька, этот парень нормальный, — заступился за меня бригадир.

Позже мне рассказали, что прошедшей зимой, выйдя из тайги, Бурят получил сразу за год большие деньги и всех угощал, раздаривая подарки. Кому-то цветные шали, кому-то — пряники, кому-то дубленку; поил всю округу и схватился со здоровенным Лосярой, матерым каторжником. Бурят порубал его топором, а потом прислонил окровавленного у ели и расстрелял как в тире.

Я чувствовал, как кровь в моих жилах густеет, и кожа покрывается пупырышками, точно гусиная.

— Он что, изверг? Душегуб? Убийца?

— Да ты что!!! Он хороший, просто много отсидел в свое время, стал лютым, — и, снизив голос, продолжали рассказывать: — Потом, говорят, он бежал, это еще в сталинское время было. Шли они по тайге, шли, шли, впереди несколько тысяч верст, уже с голоду умирали и тут наткнулись на чью-то могилу; раскопали, а мертвяк, как в холодильнике, лежит себе, его они и ели, пока не вышли к людям.

На Севере, учитывая зону вечной мерзлоты, умершему зимой человеку выкапывали неглубокую яму и сверху ставили нечто наподобие колодезного сруба.

— А кто ему эта Надька, про которую он убивался все время?

— А, Надька...! Это его лайка. Ну, собака его. Он с ней круглый год, людей вокруг на сотни верст нет, с ней, как с человеком, разговаривает .

— А что, за убитого Лосяру его не посадили?

— Эх, пацан...! Здесь закон — тайга, а прокурор — медведь. Да и всем этот Лосяра давно надоел. Беспредельщик был еще тот . Его якуты не любили, он местных девок насильничал, все боялись его, один якут стрелял в него в тайге, да так и сгинул потом без вести, говорили, что это Лосяра свел счеты...

Дни нанизывались, точно крохотные бусинки, на невидимую нить, тянулись полярные ночи, и жизнь казалась вечной, нескончаемой, что спешить совершенно некуда, незачем...

Мы подружились с Бурятом. Когда он жаловался на терзавшие его боли в суставах, я принимался мять ему ноги, убеждая бросить все к чертовой матери и уехать на юг, к морю, на грязи.

Зима стояла морозная, по ночам тайга выла, вгоняя в сердца людей ужас, и якуты вздыхали, предрекая круговертные бураны. Старик, приехавший накануне со стойбища, покуривая длинную трубочку, предостерег бригадира:

— Зима нынче плохой. Тайга, однако, осторожно ходи, шатун много бродит.

В эти дни мы втроем валили на отдаленной деляне, как внезапно заболел напарник-чеченец, у него поднялся сильный жар, и бригадир вынужден был везти его в поселок к фельдшеру. Когда стих рокот двигателя, я остался один посреди бескрайнего зеленого океана, с ружьишкой за плечами, с топором за

поясом и остро почувствовал засосавшее под ложечкой чувство одиночества.

«Эге — ге — ге!» — сказал я себе, — «не успел отъехать трактор, а ты уже скис. Бригадир обещал быстренько смотаться и привезти мне другого напарника».

Запустив дружбу, я попытался начать валку, но мысли в голове скакали точно блохи, всплыли слова старика и, заглушив пилу, я стал озираться, вглядываясь в надвигающиеся тени. Неожиданно с кроны высокой ели взлетел огромный ворон и принялся пронзительно каркать, взбудораживая округу. Вскинув ружьишко, я попятился в направлении охотничьего балка, где мы расположились на эти дни.

До «балка» шагать было верст пять, я осторожно ступал по снегу, вздрагивая на любой треск, не убирая палец со спускового крючка, и думал о Буряте, живущем в этом кошмаре одинешенек целыми годами.

Войдя в спасительный желанный «балок», я интуитивно, нутром почувствовал витающую в воздухе опасность, оставленных в нем продуктов и след простыл, сердечко учащенно забилось куропаткой, попавшей в силки. Это значило, что тут побывали злые люди. По закону тайги не принято забирать еду из «балка», наоборот, в нем оставляли соль, спички и какие-то продукты.

Таежное правило гласит: увидел незнакомого человека — уходи в другую сторону. Я вышел из «балка» и разглядел на далекой опушке вооруженных мужчин, скрывавшихся в зеленой чаще. Распахнув малицу, к своему ужасу я обнаружил, что патронтаж уехал вместе с трактором и проклял себя, бригадира, чеченца, вздумавшего разболеться посреди тайги.

Итак, очки складывались не в мою пользу. Начинался буря, запасы украдены, я оказался безоружным, рядом бродили лихие люди.

Мне хотелось завывать волком, задрав голову к темнеющему небу.

Я не чувствовал себя Робинзоном, нет, я предчувствовал надвигающуюся беду!

И все-таки мне удалось совладать с собой и выгнать из сердца противный, липкий страх, загнав его куда-то вниз. На

одной из полок я обнаружил небольшой туесок с манкой, наносил из поленицы дров, весело заполыхала буржуйка, и я стал подумывать, что дела мои не так уж плохи.

Но вскоре тайга стала подвывать, словно жалиться, снег взвихрялся к небу, охапками залетая в узкий, без стекла, оконный проем, и спустя некоторое время за дверью заметался сумасшедший буран, не стало видно ни зги.

— Час от часу не легче — было жутковато, хотелось жить, и закрадывались мысли сбежать домой, если удастся выкарабкаться в этот раз.

Я размышлял о вооруженных людях, ушедших в тайгу, застигнутые бураном, они могли вернуться, нервы были на пределе, и в этот момент в сколоченную из тонкомера крепкую дверь громко постучали.

В ружьишке оставался единственный заряженный дробью патрон, я взвел курки и спросил:

— Кто это? — но голоса своего не услышал, от волнения он пропал.

— Кто? — закричал я грозно, зверея.

— Откройте, я заблудилась в тайге, — за дверью слышался девичий тембр, и мысли всполохами заметались в голове.

«Верить или не верить? Эх, была-не была!» — я распахнул дверь и остолбенел. В проеме, облепленная снегом, что не было видно узоров малицы, стояла Татьяна, на поясе ее висело две куницы.

— Ты? Откуда?

Татьяна несказанно обрадовалась, узнав меня.

— У нас пропали олени, я пошла их искать, по пути увлеклась охотой, расстреляла все патроны, тут буран, и я заблудилась.

За стеной бесновалась природа, тайга корежилась, стонала, но я чувствовал, как внутри меня тают недавние страхи, они, взвизгнув подобно кошке, отпрыгнули назад.

— У тебя есть патроны? — спросила Татьяна.

Я растерянно помотал головой и, наверное, был смешон в тот момент.

— Я забыл их в тракторе.

— Ой, худо, худо! — встревожилась она.

Я рассказал ей о людях, забравших продукты, Татьяна слушала, качала головой, глаза ее неожиданно посветлели, она распорядилась нанести дров.

Татьяна сварила манку и к моему восторгу достала хлеб, луковицу и чай.

После еды мы курили, Таня – маленькую трубочку, я засмолил «Беломор». Таня смотрела на меня долгим, странным взглядом, зрочки ее подергивались дымкой, туманились, она порывалась мне что-то сказать и не могла решиться.

Я отворачивал лицо в сторону, всматриваясь в ее расшитые узором красные варежки, на душе от ее присутствия было спокойно.

Вдруг балок закачался, точно во время землетрясения, накренился, угловые венцы задвигались, еще я не успел сообразить, что происходит, как Татьяна вскочила и вырвала из ножен длинный узкий нож.

– Беда парень, амакан пришел, амакан!

И в это время в оконный проем ворвалась огромная, лохматая медвежья башка со злыми желтыми глазами и распахнутой в оскале клыкастой пастью, из которой в балок ворвалась отвратительная вонь.

Дикий звериный рев потряс крохотный балок, Татьяна крепко сжала мою руку и прокричала в отчаянии:

– Смерть пришла, парень! Зачем я стреляла куниц, зачем ты забыл патроны!

Медведь ревел так, что страх, загнанный мною недавно вглубь, вновь стремительно влетел в мое бедное сердце, и я поневоле стал пятиться назад в полной растерянности.

Но теперь я был не один, ответственность за Татьянину жизнь неожиданно протрезвила мою голову.

«Балок» ходил ходуном, казалось, еще минута и он рассыплется на части, я поднял ружье.

– Не стреляй, нельзя, у тебя дробь, ты его только ранишь!

– Но он сейчас развалит балок!

– Когда бревна распадутся, он встанет на задние ноги, я подойду и воткну ему нож в сердце, а ты ударь топором. Его надо убить, не то он убьет нас.

– Но ты не сможешь ударить его ножом....

— Не болтай, гляди, сейчас бревна не выдержат, гляди внимательно, мы должны убить его...

Ее глаза метали молнии под длинными ресницами, покрытыми инеем, маленький носик заострился, и она показалась мне сном, предутренним сном. Иссиня-черные волосы девушки разметались по малице, в крохотной ручке она решительно сжимала нож, рот ее был полуоткрыт, обнажая белые ряды похожих на крупные градины зубов, и вся она напоминала сжатую до предела тугую пружину.

Я стоял, крепко сжав топор, готовый биться до последнего. Мое второе Я малодушно умоляло Всевышнего насрать на шатуна паралич, столбняк или тех самых людей из тайги, которых я несколько часов назад ужасался.

Он пытался взобраться на крышу, бил боковую стену, расшатывая ее, вновь и вновь возвращался к окну, заставляя нас цепенеть от ужаса.

Амакан вырвал башку из квадрата окна, послышалось, как он побежал вокруг и задел всей своей тяжестью дверь, теперь его рев доносился откуда-то издали.

Буржуйка давно погасла, я взглянул на ручные часы и обомлел, с момента, как пришел шатун, прошло уже не менее часа.

В балке стоял жуткий мороз, организм, все это время игнорировавший его, теперь мгновенно продрог, то же происходило и с Татьяной, мы стали замерзать.

Таежный мороз суров, он промораживает все тело и добирается до костей, кажется, что и они насквозь промерзают.

Руки мои дрожали, ноги выбивали чечетку, зубы, предательски лязгая, прокусили язык. Я понял, что судьба послала на мою долю эти испытания, чтобы удостовериться, чего я стою!

Все мои мысли крутились вокруг медведя, я гадал про себя, ушел он вовсе или ходит рядом и придумывает, как выманить нас из неподатливого балка.

Татьяна, не выпуская нож из руки, прижалась ко мне спиной. Невзирая на малицу, на то, что она плоть от плоти дитя Севера, мороз добивал ее, она резко вздрагивала, пугая меня и вдруг, словно читая мысли, неожиданно проговорила:

— Мы умрем парень. Амакан здесь, не ушел, он хитрый, спрятался...

И точно накликала беду. Раздался глухой удар, показалось, что на балок рухнула вековая лиственница, он зашатался и, перекрывая вой бурана, разнесся утробный рев, от которого жались внутренности.

Изогнувшись, Татьяна впилась мне в губы, обжигая их сладчайшим поцелуем, на долю секунды я растворился в ее влекущих зрачках, но новый удар и последующий рев отбросил нас в разные стороны, мы изготовились к смерти.

Вновь мокрая от снега медвежья башка просунулась в проем, заревела, парализуя волю и вдруг она как-то обиженно простонала, омерзительная пасть, пряча клыки, медленно закрылась и соскользнула вниз, все стихло.

Стало отчетливо слышно, как всхлипывает тайга и мне почудилось, что до моего воспаленного слуха доносится скрип крадущихся шагов.

Дверь затрещала под тяжелыми ударами, Татьяна стояла прямая, словно натянутая гитарная струна, я понял, что стучит человек и в голове вспыхнула мысль, что схожу с ума.

— Открывай! — прошептали обескровленные губы Татьяны.

На прямых ногах я добрел до двери, все еще раздраемый сомнениями и, напрягая мускулы рук, скинул тяжелую перекладину засова.

В дверь, пятясь спиной, вошел маленького роста человек, снег налип на него пластами и казалось, что это сугроб, если бы не торчавшая винтовка.

Когда сугроб повернулся, Татьяна завизжала, точно сука, нашедшая потерянного кобеля и бросилась на шею пришельцу.

Это был Володька Бурят, буран и его застал в тайге.

Прекрасно ориентирующийся, он направлялся к балку, чтобы переждать непогоду и столкнулся с шатуном.

— Слышу, амакан ревет. Значит, в балке кто-то есть. Гляжу, его башка в дырку лезет, я подкрался с подветренной стороны и выстрелил в сердце, — спокойно рассказывал Бурят, шелуша полено, чтобы растопить буржуйку.

— Если бы не ты, он бы нас задрал. Балок уже едва стоял.

— Хо-ро-ший балок! — Бурят любовно пощупал темные бревна балка, давшие широкие щели.

— Сами строили. Еще Росомаха живой был, потом его амакан съел.

Татьяна, бесстрашная Татьяна сидела на топчане у стены и плакала, поражая меня.

— Нервы! Перепугалась девчонка. Шутка ли, амакан пришел. Такое не всякому мужику пережить! — приговаривал Володька, вгоняя меня в краску, события дня еще не отпустили мой мозг, и я понял, что он говорит это мне в утешение.

— Поплачь, девчонка! Зачем одна в тайгу ходишь? Я тебя потом поругаю, а сейчас на, возьми, отдашь кривому Секле, на деньги купишь себе красивые сапоги.... тебе перед женихами надо!...

Поражая меня, Бурят протянул Татьяне тускло мерцающий самородок золота, при этом хитро подмигнул, отчего его нос выпрямился и перестал выглядеть уродливым.

* * *

В тот миг я впервые задумался, что же такое — человек?

Он может одного ставить у ели и беспощадно расстреливать, а другому отдать самородок, ради того, чтобы остановить слезы?

И понял! Понял, что душа человека — не потемки, а темные лабиринты, непонятные не то чтобы постороннему, а порой и самому себе!

* * *

Мой роман с Татьяной так и не сложился, слишком разные мы были, она — вольное дитя Севера, я — напичканный городскими стандартами, она — искренней, первородной в своих чувствах, я — материковый повеса, и оттого не был готов принять ее любовь.

Теперь, при воспоминаниях о ней, легкая грусть wpłyвает в сердце. Что могло стать с моей судьбой, если бы я женился на прекрасной северянке? Возможно, жил бы до сих пор в тайге и был бы также первороден и счастлив!

* * *

Итак, я обещал читателю рассказать историю о том, как я замерзал во второй раз.

В тюрьме все дни одинаковы, они тянутся в ожидании, в тревоге, в страхе, воздух камер наполнен несчастьем, каждый его квадратик – это отчаянье, и только неумные шутки дают силы выдержать, не сломиться. Каких только людей здесь не встретишь! Какие дремучие души сокрыты за стальными дверями и засовами!

Я говорил с человеком, которого трижды сажала жена, родив ему за три срока трех дочерей. Посадив в четвертый раз, она вновь затяжелела, и когда я спросил его, станет ли он жить с ней после освобождения, этот небритый мужик, добивавший «червонец», после долгих раздумий ответил:

— Если родит пацана, то буду!

Я встречал вора в законе по кличке Володька Ростовский, у которого по приговорам было сто восемнадцать лет срока, из которых он отсидел сорок четыре, прошел лагеря всех союзных республик, и когда я спросил его, как бы он прожил свою жизнь, если бы она далась заново, ответил:

— Я прожил бы ее так же!

Я встречал человека, попавшего в транзит, к «глухарям» (заключенным с огромными сроками), из зала суда, с годом срока, безудержно кручинившегося над разбитой судьбой.

Я встречал цыгана, отбывающего срок за кражу коня, искренне рассказывавшего легенду, как, возвращаясь ночью с вечеринки, перешагивал огромный валун, оказавшийся конем, вскочившем и несшим его до тех пор, пока его не остановила милиция.

Я встречал невезучего человека, выбившего противнику в драке глаз, оставив его незрячим (второй глаз у потерпевшего был стеклянным), и горько сетовал на злую судьбину, оттого что вместо стеклянного выпал настоящий.

Я встречал человека-ухо, который, сидя в камере, по чиху, смешку, кашлю, скрипу сапог мог точно определить фамилию надзирателя, и то, напротив какой камеры он находится в данный момент.

Я встречал чудака, поставившего на кон десять тысяч присядок, с условием присесть в случае проигрыша в течение суток и как я его не отговаривал, сел играть, в надежде выиграть дачки соперника за год, и проиграл.

Я встречал малолеток, умиравших от табачного голода, но принципиально не куривших «Приму», потому что она красного цвета, и при этом умоляли дать хоть одну затяжку от папиросы.

В камере с кабуром томными душными вечерами женщины «пуляли» нам сеансы, и мы чувствовали себя шахами, обладателями гарема.

Утро в женской камере начиналось с драки за тушь и губную помаду. Женщины готовились на прогулку, красились, наряжались, и к нам доносились их безумные вопли:

— Куда ты, чувырла, пялишь мой капрон на свои короткие ножки?

В ответ еще более пронзительным голосом:

— Я тебе щас кумпол расшибу, на свои посмотри, я с такими свинными ляжками даже вертухаю постеснялась бы дать!

Внизу заваривалась потасовка; мы сверху науськивали их друг на друга, причем часть камеры поддерживала одну, другая часть — вторую, и при этом хохотали беззаботно, точно находились на курорте.

— Люся, эта Людка тебя уже достала! Она пользуется твоими вещами, словно собственным гардеробом, забери у нее чулки.

— Муся, ты же рецедивистка, дай ей по шарабану, отними все кишки и пусть следит за базаром!

— Пацаны, не переживайте, я наступлю ей на ляжку и порву на две половинки.

— А — а — а — а, крыса худосочная, вот тебе, держи...

— Ой, волосы, волосы!

— Ха — ха — ха — ха — ха! — умирала со смеху наша камера, довольная тем, что удалось их стравить, и наслаждалась воплями, идущими снизу.

Внизу громко лязгала дверь, и слышался грозный бас надзирателя:

— Опять ты, зеленоглазая? Что не поделили? В карцер отправлю, будешь Новый год там встречать!

— Посмотри на мои ножки, эта законченная теплотрассница, говорит, с моими бедрами даже вертухаю дать стыдно...

— Успокойся, жучка, я тебя с удовольствием ...

— Я если и дам красным, так только хозяину!

– А мы что, не люди? – обижался надзиратель и захлопывал дверь, наступала тишина.

В тюрьме день проходит в заботах: шмоны, этапы, допросы, проверки, является «мамка» с «дачками» счастливицам, и вот наступает долгожданный вечер, тюрьма затихает. За решеткой квакает «квакун», а мы просим девочек спеть.

Они садятся к решетке и заводят тянучее:

– «У беды глаза зеленые, не простят, не пощадят...»

– Поют грустно, что хочется освободиться, – комментирует «смотрящий» за «хатой».

А девчат не удержать, они тянут о несчастной любви, о верности и неверности, о воле, что осталась по ту сторону.

В ночь перед Новым Годом мы томились от безделья и неизвестности, как снизу спросили:

– Мальчики, что вы делаете?

– Шары надуваем, маски раскрашиваем, костюм расширяем...

– Не поняли! Что за костюм?

– Марата кум назначил тюремным Дедом Морозом, к его шубе надо блестки пришить...

– Каким Дедом Морозом, вы что там, совсем уже...?

– Сами вы уже у себя в «дурятнике»; наша камера по итогам года завоевала первое место: за хорошее поведение, чистоту, отсутствие нарушений... нас под конвоем выпускают на елку.

– Да вы че, правда, что ли?

– Век воли не видать!...

– Пацаны – ы – ы – ы!

– Нам нужна Снегурочка, мы предложили Люсю, но кум зартачился, говорит, возьму с пятьдесят первой новенькую...

– Ах он, сучяра позорная, как штык у него чешется, так он к нам летит...

– Он говорит: новенькая высокая, стройная, а Снегурочка, говорит, должна тюрьму олицетворять...

– Парни, милые, вы же наши принцы, скажите этому мусориле, пусть меня возьмет, вы же сами мне титул «Мисс Тюрьма» дали...

– Куда ты лезешь, ты на себя в зеркало не пробовала смотреть?

– Шаболда ты, кто бы мычала?

– Успокойтесь, хоть в такой день не ссорьтесь..., – кричали мы.

– У – у – а – а – а, – в голос хлюпали девчонки, и было жаль их, жаждавших любви, участия, праздника. Не выдерживая более этой муки, мы кричали им:

– Да угомонитесь вы, наконец, наберитесь терпения. Бог терпел..., ведите себя хорошо и на следующий Новый Год, может быть, вас выведут!

– У – у – а – а – а, не хотим еще год сидеть, на свободу хотим!...

Это было вечером, а ранним утром меня дернули на этап, по ошибке закинув в автозак, где сидели хмурые «полосатики», едущие на Дальний Восток, согнутые тяжестью срока и судьбы, выпавшей на их долю.

Я взбунтовался и стал требовать у конвоя, чтобы меня отвели назад на «вокзал».

Рассерженные на себя за невнимательность, конвоиры погнались «на пинках», но, получив отпор, озлобились и отвели в другой автозак, посоветовав шуршать как мыши, пока они разберутся.

Решетчатая дверь защелкнулась, а дверь воронка осталась распахнутой.

Мороз стоял за тридцать, снег скрипел под ногами уходившего конвоя, металл воронка был покрыт инеем и сразу же стали подмерзать ступни, обутые в легкие ботинки.

Я был один в пустой клетке, телогреечка задубела и уже не грела, я стал приседать, махать руками.

Минуты тянулись мучительно долго, сосал пустой желудок, теплая камера казалась земным раем, от бесконечных присядок дрожали ноги, и я неосознанно стал напевать:

– Ой, мороз, мороз, не морозь меня...

Я безуспешно ковырял замок на стальной двери, громко декламировал Есенина, тарабанил по стылому железу и за год срока просился в горячую баню:

– Ко – з – злы, да – а – йте год сро – о – ка, но от – ве – ди – те в ба – ню, я зам – е – е – е – е – р – з!

Я в отчаянии просил год срока, забыв, что сидел безвинно, как говорили в тюрьме, ни за что.

– Чер – ный во – р – он, ты не вей – ся, не пе – чаль – ся на – до мной!

Давно рассеялось утро, голос мой таял в морозной голубоватой дымке, из-за стен тюрьмы доносились заманчивые звуки лязганья дверей, бряцанья посуды, это уже «печатали» ужин, и я с умилением подумал о том, что Люся и Людка вновь сцепились за колготки. Конвоиры обо мне забыли, в колотье прошел короткий зимний день и сверху стал наплывать сиреневый вечер, закончилась проверка.

«Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка,

здесь я доподлинно узнал, почему она, копеечка... – вспомнились мне слова Владимира Семеновича Высоцкого, затем на ум пришел балок, лютый холод, желтые глаза шатуна, изумрудные зрачки Танечки, искренне позавидовал той ночи и еще подумал о зависти наивных девчонок, оттого, что меня избрали тюремным Дедом Морозом.

– «Воистину: смеется тот, кто смеется последний» – подумал я, – вот тебе и шары, и маски, и Новый год, и Дед Мороз».

В стьлом воздухе огороженного колючкой двора послышался грустный хор:

– «У беды глаза зеленые, не простят, не пощадят...»

Откуда-то из-за забора, из города, донесся бой новогодних курантов. Вдруг заскрипели частые шаги, в двери появился конвоир и, матерно ругаясь, посетовал:

– Новый год, бля, все пьют, а я должен тебя отсюда вытаскивать, хоть бы поблагодарил...

– Спа – си – б – б – бо! – выступал я благодарностью, точно передавал морзянку.

– Не за что. С Новым годом! – поздравил он меня.

– З – з – а б – б – аню, что ли, г – год – д?

– Не понял, – дуборея, конвоир не оценил смысла моей шутки.

– Д – да л – лад – д – но, с Н – н – новым Г – г – г – о – дом – м! – поздравил и я служивого, злости не было, она вся вымерзла...

* * *

Многое происходило в тот период, ныне канувший в лету. После неволи, куда заточили меня за незаконное обучение

каратэ и хранение нунчаков, попал я в Жезказган – город, выстроенный политическими зэками.

Я встал на учет в милиции, и моим куратором стала изящная сероглазая женщина по имени Любовь.

Прочтя дело, она вскинула на меня глаза и вдруг так странно попросила: – Я хочу заниматься каратэ. Ты меня научишь?

Тысячи мыслей пронеслись в моей бедовой голове, но отказать я ей не смог.

– Научу! – пообещал я.

Я работал тренером, проводя время в спаррингах, кроссах, медитации и тренировал красивую Любовь.

Надо сказать, что она отдавалась искусству яростно и беззаветно, была гибкой, стремительной, а через некоторое время стояла со мной в паре.

Удивительное создание – женщина! Она была для меня носителем самой главной опасности, и, тем не менее, я отдавал ей все свои знания. Вся моя жизнь могла бы зависеть от капризов этой красавицы. Она была полномочна в любую минуту состряпать бумаги и отправить меня в зону. Но она манила, как манит путника мираж в пустыне, и он бредет к горизонту, отчетливо понимая, что путь его гибельный. Так и я не мог найти в себе силы прекратить все это, продолжая день ото дня передавать ей технику борьбы, возбуждаясь при виде ее, прекрасной, готовой драться. Это были длительные тренировки. Мы бесшумно двигались в пустом зале друг против друга, глаза ее метали молнии, пухлые губы сжимались, и тогда она наносила стремительный маваши.

– «Капитан, капитан, улыбнитесь!» – пел я, отражая удар, приводя ее в бешенство, и тогда она не в силах больше сдерживать себя, кидалась мне на шею.

И еще был бой, который невозможно забыть, оттого что любящая женщина готова идти на смерть за своего мужчину. Вспльчивый тренер по борьбе, проиграв три партии в теннис, вызвался драться.

– Не могу я с вами, вы старше меня, – пробовал я отказать.

– Тогда с моим учеником!

Его ученик, сто кило весом и в звании международного по самбо, налетел на меня, точно я был его злейший враг. Я был опешен. Вдруг Любовь вскричала: — Дай я!

Кровь ударила в голову, я стал отходить, двигаться по ковру, готовясь к атаке, и как только соперник вновь бросился мне в ноги, встретил его коленом в голову. Ох, и крепкая голова была у азербайджанца, он только мотнул ею, смахивая пелену с глаз, и вот тут я взорвался. Справа, слева, маваша в голову, с разворота ура-маваши, коленом в грудь и на отходе лоу-кик в голень... Чемпион напоминал обвисшее белье, вокруг меня носилась Любовь, со сжатыми кулаками, готовая к бою и тогда я прекратил избиение.

— Сабир, ты проиграл, — вымолвил его тренер.

— Вы, борцы, оба проиграли мне сегодня, — ответил я и благодарно взглянул на Любу.

Безденежье вынудило искать побочный заработок и привело меня к порогу некоего РСУ. В жизни ничего не строивший, я подрядился лить шлакоблоки и выстроить из них молитвенный домик на кладбище.

Ловкий прораб шепнул мне на ухо: — Надо, чтобы он простоял, пока мы не подпишем акт.

Но мой друг Жменьковский, имевший диплом строительного института, взялся за дело основательно и в шесть утра настроил теодолит.

Измученный, я спросил его: — Что ты делаешь?

— Дом надо строить по всем правилам..., — ответил он невозмутимо.

Тогда я взял лопату и провел черту по земле.

— Эту часть дома строю я, другую ты.

И стал строить, да еще как! К обеду я уже поднял стены, оставляя оконные проемы, а потом принялся за крышу. Мой друг еще только заливал фундамент. К вечеру, едва разогнув спину, я отошел в степь и, повернувшись, обомлел.

Моя кривая, горбатая часть домика, с половинками оконных и дверных проемов, напоминая полусгнивший черный зуб, стояла вопреки всем законам строительства. Это было чудо! Наутро я поехал за деньгами. Мой друг строил еще две недели. Когда срослись две половинки домика, получилось

чудное строение, которое, говорят, продержалось несколько лет. В последний раз я видел его в иллюминатор самолета, взлетая над городом, и скажу вам честно, испытал не стыд, а странную гордость.

— Что ты купишь на заработанные деньги? — спросил я друга.

— Куплю Жигули, «шестерку»!

— Правильно, «шестерка» — комфортная машина, — подержал я его.

На следующий день он сидел в спортзале, обняв голову двумя руками, размышляя над великой дилеммой.

— Всю ночь не мог уснуть, думал. Посуди сам, у меня больная жена, а на «кадры» я не езжу... сейчас на все деньги куплю «шестерку» и на гараж ничего не останется.

— И что же ты решил? — спросил я, изумленный.

— Куплю «Москвич», и гараж...

— Гениально! Зачем тебе Жигули, раз ты на «кадры» не едешь?

Следующим днем он встретился мне опять измученным, с темными кругами под глазами.

— Не могу спать! Весь покой потерял, зачем мне «Москвич», если на черный день не останется? Может, мне купить «Запорожец»?

— Ты гений! Бери «Запорожец», гараж и еще на черный день сэкономишь, — что я мог ему посоветовать? Сам я создан по другому принципу.

Но вот уже друга моего нет в числе живых и не осталось от него ни «Запорожца», ни гаража, ни денег на черный день.

Я размышляю, что же в этой жизни правильно? Гулять-так гулять? Или все наперед рассчитывать?

Эта история с «шабашкой» едва не стоила мне жизни, простуженные почки швырнули на больничную койку и в течение недели моя душа боролась с телом, пытаясь отделиться. В очередной раз я болтался между жизнью и смертью, цепляясь за нее из страха не доделать чего-то, самого главного, на земле, имя которому я и сам тогда не знал...

И после той поры случилось еще множество трагикомедийных и глупых событий, впустую истрачена уйма сил и энер-

гии, те, что теперь, по прошествии времени, можно лишь оценить как грабли, на которые больше нет смысла наступать.

А тогда я попал на Кавказ и открыл там огромный завод для производства мороженого. Это были одни из самых чудесных дней. Чистый воздух после камерного смрада казался мне состоящим из крохотных искрящихся кристалликов. Каждое утро я любовался видами Машука, Бештау,пил горячие «Ессентуки» и наслаждался свободой.

Было лето, и Пятигорск изо дня в день переполнялся курортниками, приехавшими на воды. То ли я представлял себя Печориным, то ли оттого, что я повеса, мне хотелось обзавестись романом, и я оценивающим взором наблюдал за женщинами, выискивая в толпе свою княжну Мэри. Я взял коня и проскакал весь путь Печорина, от Пятигорска до Иноземцева, тот, что он проскакал в погоне за княжной. И произошедшее чудо укрепило меня в мысли, что моя Мэри где-то рядом. Мой загнанный конь тоже рухнул на пыльную землю, лишь только показались крыши Иноземцева.

Свою Мэри я повстречал у источника, со складным пластиковым стаканчиком в руках, и сразу же понял – это она!

Она была очаровательна, с детской печатью наивности на лице. Ее звали Мария, я стал звать ее Мэри...

Мэри была стоматологом, что вначале разочаровало мой пылкий мозг, но когда она прочла Блока, затем отрывок из «Тамани», я был сражен... Более тонкого человека из среды женской половины мне не довелось еще встретить до сих пор...

Мы бродили под сенью тенистых аллей и никуда не спешили, стихи Мэри были созвучны с окружающей природой, они журчали как целебная вода, бегущая из источника и излечивали мою израненную в неволе душу. Я тоже в ответ ей читал любимые строки и рассказывал о превратностях жизни. Мэри прижимала тонкий пальчик к губам, умоляя не говорить о жестокостях, которыми изобилует мир, но лишь о прекрасном и красивом, указывая рукой на волшебный закат.

– Ты веслом рассекала залив,
я любил твое белое платье,
утонченность мечты разлюбив..., – алели ее губы, завораживая и притягивая.

— Не садись на пенек, не ешь пирожок! — это слова из детской мудрой сказки, но как часто мы, взрослые, забываем, что в них все сказано наперед, на грядущие поколения.

— Зачем тебе большие деньги? — спрашивала Мэри, и я не мог найти простого ответа, задумываясь над ее вопросом.

— Погоня за ними заведет тебя в омут, — пророчествовала она, а мне слышалось: — Не садись на пенек, не ешь пирожок..., — и я от души смеялся.

Я брал ее белую ручку и подносил к губам, и возможно, если бы не автоматные очереди, изранившие окружающие деревья, поцеловал...

Они прозвучали столь неожиданно. Только лежа на земле, куда бросила меня Мэри силой, невесть откуда взявшейся, в ее руках я осознал, что это были смертоносные пули.

Столько лет прошло с тех пор, а я не могу разгадать эту тайну! Откуда в чудесной женщине такая мгновенная реакция, или это вечный инстинкт материнства?

Было еще покушение, мафия тогда расцветала ядовитым сорняком, граната, заброшенная в комнату, где я жил, разворотила стены, и только мольба удивительной Мэри вынудила покинуть меня красоты Кавказа.

Я уезжал с разбитым сердцем, закончилась моя Пятигорская одиссея.

* * *

Я отклонился от рассказа о том, как мне пришлось замерзать в третий раз.

Испытать суровую лютость мороза мне довелось в зиму, когда я купил дом на севере Казахстана, и в который раз пришлось поразиться силе человеческой в экстремальной ситуации. Это было лихое время деревянных рублей и канун предстоящего катаклизма страны.

— Есин барда елин таб! — что означало: — Пока ты в разуме, возвращайся на Родину! — моя мама заговорила о переезде.

Так вот! Я решился и выехал в далекий северный город. К своей удаче я сразу наткнулся на большой дом, принадлежавший чеченцам и, сторговавшись о цене, ударил по рукам с хозяином.

Ситуация осложнялась отсутствием денег и наличием других покупателей, готовых уплатить. Но, помня о том, что жизнь любит рискованную, я сел в АН-12 и полетел за деньгами к Дяде Гене, отчаянному картежнику, бильярдисту. Два часа полета, тридцать минут сумасшедшей езды на такси, и вот я уже под глухими воротами Дяди Гены. Бесперывные звонки в дверь, пронзительные гудки автомобильной сирены растворялись в сгустившихся сумерках южного города, и надежды мои, подобно медузам, вынесенным волнами на жаркий, морской берег, стремительно таяли. Вдруг отчетливо послышался скрип, надрывный кашель, шаркающие шаги и до слуха донеслись многоярусные беззлобные маты. Это был Дядя Гена, мудрый товарищ, замечательный рассказчик, отсидевший в лагерях два десятка лет и сохранивший потрясающее жизнелюбие.

— Кто там? Козлу лысому — горячие пирожки! — это было одно из самых любимых ругательств Дяди Гены.

— Дядя Гена, это я!

— Кто я? Спать не даете!

— Да я это, уже вечер, проснитесь же вы, наконец!

Надо сказать, что у Дяди Гены, игрока-каталы, был весьма странный режим дня, он с обеда ложился спать, просыпался ближе к вечеру и долго возился с асычками, картами, кием, в зависимости от того, какая предстояла игра. Потом он пил чай, неспешно скуривал папироску с анашой и лишь после этого направлялся в гараж заводить выигранный «Форд». Наступал самый ответственный момент в его распорядке, он выезжал на игру и, будучи человеком суеверным, соблюдал огромное множество примет, зачастую несуразных. Например, играть в карты ехал только в старой клетчатой рубашке, в кости — в алом пуловере, в бильярд, накинув шегольскую замшевую курточку, и при этом колоду клал исключительно в нагрудный карман, асычки хранил в кожаном мешочке, а сложенный кий обматывал тряпкой. Справедливости ради надо заметить, что самые крупные выигрыши, например, дом, в котором он жил, Дядя Гена выиграл в стире, к ним он относился благоговейно, меньшие, например, «Форд», в кости, их он уважал и, наконец, карманные деньги зарабатывал игрой в бильярд, оттого кий называл лопатой.

— Лопату у меня даже советская власть не отнимет, — говорил Дядя Гена, любовно поглаживая его.

— Ты? Откуда вдруг?

— Дядя Гена, я покупаю дом, — выпалил я.

— Молодец, поздравляю!

— Пока рано, денег нет, я приехал занять их у вас.

— Сколько же тебе их надо?

— Семьдесят тысяч рублей.

— Катка в ночь. В доме столько нет, хотя если посмотреть...

— Дядя Гена, ворча из-за того, что я не дал ему поспать, направился в комнату, я слышал его громкие чихи, доносящиеся из глубины, и, спустя время, он развернул на полу сверток. Отсчитав семьдесят тысяч, оставшиеся аккуратно свернул обратно и убрал в сторону.

— Катка в ночь, — повторил он ответственно.

— Все, помчался, меня самолет ждет, — прижавшись к нему щекой, я прыгнул в такси.

Спустя сутки акт на дом был передан мне, и я стал полным и законным его владельцем. Но это предыстория, теперь же предстояло очистить комнаты от наметенного снега (окон в доме не было) и, вооружившись лопатой, я принялся швырять его в проемы. Это было утро, мороз поддавливал, зашкаливая к сорока, из соседних ворот, любопытствуя, выглянула бабка, и, спустя некоторое время, с папиросой во рту появился дед в тулупе и пимах. Целый день я пластался, краем глаза замечая, как сквозь заледеневшие окна за мной наблюдают несколько пар любопытных глаз и все же битва, начавшаяся в полдень, окончилась моей победой. Короткий зимний день стремительно убывал, из трубы соседней избы к небу тянулись сиреневые клубы дыма, оттуда доносились запахи вареного мяса и мучительно терзали мой пустой желудок.

В большую зальную комнату я перенес вещи из контейнера, залил в себя бутылку белой, закурил и стал укладываться на ночлег. Чей-то негромкий кашель оторвал меня от занятия, в чернеющем проеме окна стоял известный дедок и, перетапываясь на снегу, нерешительно предложил:

— Идем к нам...

— Спасибо, отец..., но я переночую у себя.

— Как же ты будешь спать в доме, где нет окон? — ужаснулся дед.

— Не беспокойтесь, обещаю вам утром зайти.

Старик еще немного постоял, качая головой, и поплелся к своим воротам. До сих пор я не знаю, что руководило мной, и почему я не отправился в гостеприимную избу. Как был, в горнолыжном костюме, я забрался под ватные одеяла, укутавшись с головой, но это не спасало, не прошло и часа, как кости мои промерзли. Северный ветер задувал в окна и метался по пустым комнатам, поскуливая. Еще одна влитая белая не грела и лишь пьянила, туманя, мозг. Мороз все лютел, где-то за стенами противно скрипели деревья, собаки, брехавшие с вечера, затихли, все кругом растворилось в чернильной ночи и только мой простуженный голос из-под стопки одеял негромко выводил Некрасова:

— Не ветер бушует над бором,
не с гор побежали ручьи,

Мороз-воевода дозором обходит владенья свои!

Клацали зубы, из прикушенных губ текла солоноватая кровь, руки и ноги не разгибались, но зато я проводил ночь в купленном собственном доме. Возможно, это важно для человека — НЕ ЗНАЮ!

Утром в пустое окно свистнули. Я высунул голову из-под одеяла.

Под окном, точно паровозы, дымили паром из открытых от изумления ртов два парня.

— Ты живой, братан?

— Живее вас обоих, — пробурчал я, вылезая.

— Я Нуржан.

— А я Нурлан, — представились братья. Это были дети того самого старичка.

— Пойдем к нам, попьем горячего чая, — предложили они, и я выпрыгнул в окно.

Они смотрели на меня с немym восхищением. Мы напились чая, познакомились, и теперь я стал захаживать к ним.

У старика был старый «убитый» «Москвич». Всю зиму братья возились с ним в холодном гараже. Они раскидали его на части. Некуда было поставить ногу, чтобы не наступить на

какую-нибудь запчасть. Руки и лица их были по локти измазаны салидолом. Я выкуривал сигаретку, наблюдая за ними.

– Весной выедем, Мара! – мечтательно произносил Нуржан.

– Мы сделаем из него конфетку, – вторил Нурлан.

Зима тянулась в тот год долго и муторно. Одолевали суровые морозы, бураны носились по улице так, будто природа сошла с ума. Я продолжал заскакивать к братьям на огонек.

– Весной выедем, Мара! – мечтательно произносил Нуржан.

Я курил сигареты, сплевывал на ледяной бетонный пол.

– Сделаем из него конфетку, – вторил Нурлан.

Но вот она и пришла. Зазвенела. Просели вчерашние сугробы, сделались черными. Побежали вначале неуверенные, затем набравшие силу ручьи. Кругом стало высыхать. Я все так же продолжал заходить в гараж к соседям-Кулибиным.

В «Москвиче», хотя и с трудом, но уже можно было распознать автомобиль.

Нуржан и Нурлан «курочили» ее еще одержимей, чем зимой, вымазавшись салидолом до самых ушей.

– Скоро уже выедем, Мара! – обещал Нуржан.

– Будет «конфетка», – уверял Нурлан.

Улицы высохли. Я ждал их выезда, как ожидали запуска первой космической ракеты.

Отчет времени пошел на дни. И вот он наступил – их час.

– Сейчас, после обеда, выезжаем, – сообщил Нуржан.

Нурлан молча презрительно отшвырнул «бычок».

После обеда я с нетерпением выглядывал из ворот. Со скрипом растворились двери гаража. Вышли на улицу старик со старухой и благословили детей.

Нуржан сел за руль и запустил двигатель. Он долго чихал, надрывно скулил, словно жалился, и вдруг завелся. Братья взревели от радости, точно медведи.

Нурлан махнул мне, точно Юрий Гагарин перед взлетом, и сказал «Поехали!» Нуржан толкнул вперед рычаг передачи, он заскрежетал, «Москвич» дернулся и козликом скакнул с места. Братья поехали. Вскоре они скрылись за поворотом. Я долго ожидал их возвращения, но их все не было. Старики тоже притомились и ушли в дом. Багровому солнцу, видно, тоже

надоело ждать, оно стало спускаться, прячась за дальние холмы.

И тут сквозь отсвечивающее алыми сполохами стекло я разглядел бредущих пешком Нуржана и Нурлана.

Я видел, как на улицу выскочили старики, братья размахивали руками и что-то объясняли им. Меня раздирало любопытство и, не выдержав искушения, я тоже вышел.

— Представляешь, Мара, летим по трассе, вдруг какой-то грохот и машину обгоняет чей-то задний мост на колесах. Нуржан кричит: эй, смотри! Оказалось, что это наш задний мост!!!

Было неудобно смеяться над чужим горем, но я так хохотал, что оба брата, не выдержав, тоже принялись ржать, будто очумелые.

— Ну, а что теперь с «Москвичом»?

— Ничего, сейчас притащим и начнем делать. К концу лета выведем, Мара, — пообещал Нуржан обреченно.

— Сделаем из него «конфетку», — мрачно произнес Нурлан.

* * *

Возвращаясь к съемкам уходящей природы, вспоминается несколько курьезов, о которых невозможно вспомнить без иронии и один них произошел, когда мы снимали сцену «Барак».

По сценарию у входа штабелями лежат нагие, замерзшие трупы, а по другую — закованные, прислоненные к стене, точно бревна, и необходимо было найти людей с татуировками старых времен. Я уже говорил, что мужское население Канонерки состояло из сплошь отсидевших, второй режиссер Ибраев пообещал им хорошую выпивку и собрал целую толпу бывших зэков.

В бараке мужики, посмеиваясь друг над другом, скинули свои лохмотья и стали демонстрировать наколки. Они были разными, эти незамысловатые художественные произведения, выцветшие татуировки стариков соответствовали духу того времени, и мы решили выставить их на передний ряд.

— А кого мы будем играть, начальник, — выкрикнул мостовой, сплошь татуированный парень.

– Трупы, – ответил я.

– Я так понял, у вас тут политические и урки?

– Ну да. Основная масса в нашем бараке – политические и немного урок.

– Так вот, начальник, мы тут, посоветовавшись, решили, политических трупов мы играть отказываемся, даже за «бухло»... нам это западлу, и хоть мы трупы, но жизнь свою положили за воровскую идею...

У меня перехватило дыхание и во рту мгновенно высохло. Я был готов ко всему: требованиям увеличения выпивки, доплаты к ней гонорара и даже указания фамилий в титрах, но такого от безработных, небритых, спивающихся деревенских мужиков ожидать не мог никак.

Угроза срыва повисла в стеснившейся атмосфере от затянувшегося молчания и, сглотнув появившуюся слюну, я произнес речь, от которой сам ужаснулся:

– Мужики, – сказал я, – в ежовско-бериевском Гулаге существовала изощренная акция – убитых урок ставить перед входом для устрашения, в нашем фильме урки режут сук, в этой сучьей войне полегли тысячи и тысячи ваших братьев, и ваш долг сегодня – показать эту правду, к этому взывают души убиенных!

Я замолчал, наступила тишь, что слышно было, как мужики перетаптываются с ноги на ногу. Они молча переглядывались, и вдруг хлипкий, сморщенный дед с черепами на тощей груди, выдохнув едкий дым самокрутки, сирым, прокуренным голосом произнес:

– Фули тут рядить, режисер не фуфло гонит, айда на выход...

– С вещами, Порфирьич? – смачно выкрикнул все тот же мосластый, везде бывают такие неугомонные.

– Голыми, мы же трупы! – просипел дед в ответ.

– Ха – ха – ха – ха! – расхохоталась толпа.

Бывшие каторжане гуськом, босыми ногами потянулись на снег, за вожаком, от сердца отлегло и захотелось выпить в дрыбаган с ними, периферийными, оставшимися на обочине жизни, но верными своим искореженным принципам.

* * *

Я вспомнил Леню-Жокея, великого одессита, вора, человека, до мозга костей ненавидящего канувшую в лету советскую власть.

Это Леня мне приносил с гордостью: «Я — потомственный вор, а не какой-то там пролетарский налетчик!»

Что это значило, я до сих пор так и не понял, а пытаться такого человека, как Леня, себе дороже. Теперь его уже нет, и я могу лишь догадываться, что он имел в виду. История знакомства с Ленией, уникалом общества, уходит далеко в мое авантюрное прошлое, анализируя которое нынче, я понимаю — это судьба вела меня к нему, протаскивая через сложные пороги реки жизни!

Читатель помнит о Майдане. Так вот, прошла моя юность, я отслужил в десантных войсках, и вернулся, как все, на гражданку. Майдан в то время сидел на строгом режиме в печально известной Долинке. И вот он просит меня о каких-то посылках, бандеролях, носках, конфетах...

Мой врожденный альтруизм не смог отвернуться от него, ибо сказано: Не отталкивать руку страждущего! Все и началось с этого. Я отправлял посылки, посещал его на коротких свиданиях. Потом он пропал, сгинул где-то в дебрях лагерей. Но однажды пришел ко мне Миша. Он сидел вместе с Майданом и долго рассказывал о нем. Мишаня оставил за спиной три срока длиной в семнадцать лет и был заядлым наркоманом. Мне было интересно с ним коротать время и наблюдать за его приготовлениями.

Мишаня доставал небольшой сверточек с опиумом и медленно разворачивал его.

Маленьким ножичком он отрезал крохотную «палку» и клал ее на серебряный половник, приговаривая: — Эти наркотики-идиоты варят в алюминиевой ложке, не подозревая, что это вредно, от себя жалеют, крохоборы!

Он казался мне алхимиком. Процедура готовки «ширева» занимала его целиком, в предвкушении кайфа глаза его блестели и улыбка не покидала лица. Мишаня варил опиум над газом, терпеливо давал ему остыть, готовил шприцы, вату, иглы, а затем медленно набирал. Когда бурая жидкость втекала

в «машинку», он перетягивал себе руку и... вводил. Лицо его розовело, щеки покрывались бисером пота, и Миша замирал в ожидании «прихода».

Я глядел на Мишу и мне очень хотелось «уколоться», познать — что же это за кайф?

— Набери и мне, — вымолвил я.

Мишаня напрягся, он не ожидал этого услышать от меня. Он не был жадным на «ширево», как другие «наркоши», и лицо его озарилось мягкой улыбкой Моны Лизы.

— Попробуй «кубик», но тебе лучше снять с себя рубашку и расслабиться, чтобы понять кайф.

Я сдернул одежку и прилег на диван. Миша набирал «машинку». Он поднес ее к перетянутой руке и высказал комплимент, завидуя моим венам.

— Мне бы такие, а то уже все попрятались, некуда колоть.

Аккуратно, точно заботливая медсестра, он ввел иглу и потянул на себя поршень, вбирая «контрольку». В шприц хлынула темная кровь, перемешиваясь с бурой жидкостью опия.

— Лови «приход».

По жилам шаром прокатился огонь и, докатившись до лица, обдал жарким пламенем. Протяжный стон вырвался у меня из груди. Я все еще чего-то ожидал, но ничего не последовало. Мишаня с нетерпением вглядывался в мое лицо.

— Ну что?

— Да ничего особенного, — ответил я и увидел, как в его глазах промелькнула тень разочарования.

— Тебе куба мало, надо хотя бы полтора.

— Давай сразу два, будет в самый раз.

— Не много? Хотя ты здоровый...

Он повторил ту же операцию, а я не сводил глаз с «машинки», опасаясь воздуха.

Вдруг страшная боль стала разрывать мне вены, словно по ним, раздирая, мчался ерш с железными иглами. Из груди моей вырвался душераздирающий нечеловеческий крик, настолько громкий, что бедный Миша содрогнулся.

Тело мое, выворачивая члены, выгибала конвульсия. Я чувствовал, как огненный ерш устремился прямо к сердцу и успел произнести: Ля илляха, иль Алла!

Ерш вонзился в сердце, и принялся высверливать его, точно в злобной мести за чрезмерное любопытство. Это потом мне расскажет Миша, что лицо стало белее мела, и он услышал, как стали крошиться мои зубы. Мой «мотор» еще несколько раз слабо торкнулся и... остановился. Миша рванет на кухню и схватит серебряную ложку, в которой варил «тоян». Он с трудом разожмет ею мои сведенные скулы и, выломав один зуб, вытянет западавший язык. Миша в борьбе за мою жизнь станет делать искусственное дыхание и, к счастью для меня, победит.

Сердце вдруг испуганно встрепенется, ударит раз и затем еще, а мое тело будет походить на стиранную простыню, висящую на бельевой веревке. Я открою глаза и первое, что увижу, причудливые желтые разводы на потолке. Я опущу взгляд ниже, рассмотрю Мишино радостное лицо и произнесу:

– Мишаня, надо бы потолок побелить...

И он широко улыбнется мне.

Он мечтал уколоться настоящим героином и умер от передозировки в маленьком домике под Винницей. Мне было жалко Мишу, он был неплохим человеком.

Прошли годы, наступило время перестройки и кооперативов. За спиной у меня был Кавказ, завод мороженого, романтическая любовь с Мэри и невыплаченные компаньонами деньги. Я очутился в Одессе-маме! Тут я столкнулся с юрким бывшим эком по кличке Колобок, который провел с Мишей его последние дни, и он же привел меня к Лене-Жокею.

Дело в том, что я всегда мечтал очутиться в Одессе. Я хотел своими глазами увидеть знаменитый Привоз, пройти по Молдованке, Дерибасовской. И вот этот самый скользкий маланец Колобок ведет меня по узким, грязным, извилистым улочкам, поражая знанием города и его дальней истории.

За каждым поворотом я ожидал встречу с удивительным персонажем Бабеля Беней Криком, мне хотелось руками потрогать биндюжников и услышать их неповторимые ругательства. Колобок выдавал мне все это сполна, пересыпая свою речь блатным жаргоном на одесском наречии, и я благодарен ему по сей день.

— Шо ты хочешь, помацать за ляжку конченую жидовку, так тож мне понятно, но я в толк не возьму, яки прикуп нам от сего мацания? Но не грузись, малой, я тебе не хочу унять, ты весь на понтах, зыбни на менэ, я и есть та Одеса, каку ты шукаешь! Я тебе поручкаю с одним старым осколком, уся Одеса в его руках. То ворюга по жизни, при немчуре сидел у гестапо, у румынов «парился», Одеса-то была в окупацьи, так всю войну прочалился на нарах, пока Советы не отняли Одесу, то его у Сибирь уперли, от Колымы, Магадана, весь Сивер прошлыдал... во типок!!!

— Познакомь, — тут же взмолился я Колобку.

— Он типок сурьезный, хляди, не юзани при встрече...

Небольшой домик, укрытый от посторонних взоров могучими старыми липами, с дохлой калиткой, не вписывался в мое представление о могуществе человека, к которому вел Колобок. Во дворе не оказалось ни души, и мы прошли в дверь.

Моему взору предстал Леня-Жокей, лежавший на старинной кровати с никелевыми шарами, закованный по самый подбородок в гипсовый панцирь, точно седой прокаленный боями рыцарь, готовящийся к ристалищу. Это был старый человек с удивительно молодыми озорными глазами. Кожа лица его напоминала старинный пергамент и свисала книзу пустыми складками.

Белые, будто шапка снега, волосы обрамляли умную голову и почти сливались с подушкой, валяясь по ней редкими длинными прядями, нос бульбочкой создавал иллюзию мужиковатости, если не обращать внимания на цепкий взгляд. Глаза Лени как бы жили отдельно, сами по себе. Они мгновенно ощупали вначале Колобка, рука вора скользнула под подушку, и вынырнула из-под нее, держа массивную «беретту», видно, он не доверял моему спутнику. Позже он станет учить меня этой великой науке не верить никому, даже себе!

Оценив, что змееватый Колобок на этот раз не представляет ему опасности, он стал буравить меня, и я почувствовал себя хромосомой, распластанной под линзой микроскопа.

— Че за фраер? — голос его напоминал обветшалую, давно не смазываемую скрипучую дверь.

– Нормалек, Жокей, близких кровей, с Карлагских краев, Лиса-приятель.

– Не мети мне за этот сучий Карлаг, там ворюг нема..., а ты, фраер, проходи, мэне Ленечка зовут... – и неожиданно вор закричал во весь голос: – Муся! Муся!

В комнату вошла хилая, робкая старушонка.

– Мусенька, Колобка же ты помнишь...

– В крытой, на продоле, рыло срисовала, так и по гроб не обозначаюсь...

– А это вроде хороший парень с им рядом...

– Мазевый с крученым? Пробы же негде ставить...

– Потом гребешки разберем... а как получилось, куды на хлебники сквозанули?

– Тут шарохались...

– Бля, только расслабон словишь, разномастные, как Колобок, перо и воткнут...

К моему удивлению Колобок на речь вора не обижался, по-хозяйски уселся и попросил у старухи чай.

В ту ночь я остался ночевать у Жокея. Муся постелила мне на полу, рядом с кроватью вора. Полилась неторопливая беседа. Старик был откровенен.

– Я тэбе пробую, шо ты за птица, если шо пристрелю, як муху...

– Хорошо, – ответил я.

Говорили допоздна, он соскучился по человеческому общению.

– А шо ты попал к Колобку?

– Я приехал в Одессу за агрегатом для изготовления мороженого.

– Шо – о – о? – он был поражен.

Я стал долго и путанно рассказывать про Кавказ, завод, покушения, и привел его к агрегату.

– А он есть в Одесе?

– Есть.

– Так я кликну пацанов, они упрут, дай наколку...

– Мне такой не нужен...

– Не мазанный?

Прошло несколько дней, мы с Леной ни на минуту не расставались, я засыпал его вопросами, предчувствуя, что когда-нибудь напишу о нем, и ему нравилось мне рассказывать. Мы скоро привязались друг к другу. По утрам он будил меня и оказывал знаки внимания, как гостю. В минуты откровения Леня признавался, что давно не встречал таких открытых людей.

— Я-то пескарем ешо стал «доставать» сэбэ хавку. Шлында-дал по Привозу, шо по Парижу. Было ваше — стало наше! Тохда в Одесе коммуны открыли, на грудь банты вязали красные, строем заставляли канать, я-то и «чесанул». На Привозе трудились щипачи, стремщики, ломщики лохов разводили, весело было. Ну а мэнэ як форточником взяли, так домушником и остался. Щас тоже в «хазу» вкатились, ломовая «хаза», одних камушков там..., ну а тут мусора поганые, а куды в дверь ломиться, я с балкона, шо тебе парашютист сиганул, так позвонки и полетели...

Как малолеткой загремел под статью, так и поехал каналы рыть, а вот им, красноперым..., — тут Жокей скрутил здоровенную дулю, — я кайла в руки не брал...

— А правда, что ты в гестапо сидел? — спросил я. Этот вопрос так и вертелся у меня на кончике языка.

— Гестапо? Я с имя водяру жрал, хотя и суки были различные...

— Но ведь там, в тюрьме, гитлеровцы пытали наших, а они же враги были?

— Пытали, выблядки, а как же, тюрьма ходуном ходила от хипеша, там и гальотина была, жбаны рубить, сам видел... наших говоришь, а хто наши-то? У тюрьме, братец, всяк сам за себя... А пытать? Так коммунаки пытали хлеше фашистов... На земле нет правды, кроме той, как сам выживешь...

— Тогда зачем слова — порядочность?

— Ты не путай кайло с валенком... Всяк себе решает, кем ему быть по жизни, крысоловом или честнягой, а як решил, так живи и не вякай...

— Ну вот ты, Леня, честный вор, а Колобок, что был, у него на лице написано — хитрец, так ты ведь общаешься с ним. Почему?

— Хитрожопый! — согласился Леня. — А где их наберешь, честняг? Среди насекомых и зверюшек моя жизнь прошла, тараканы, гусеницы, улитки разные, если масть катит, то шакалы, волки... Энтот мир мне привычный, я-то на звериной фене и вырос...

И вдруг совершенно неожиданно для меня Жокей взбеленился и стал говорить быстро, словно боялся, что его прервут: — Думаешь, я сука! Водяру хлебал с эсэсом, в то время как пытали! Да шобы ты, малек, знал, для сэбэ, я же катаю по жизни, считай, что с малства, у мене завсегда четыре туза в колоде, а на той крепости был один игровой фашист, як его кликуха-то была, дай осподь памяти, давненько же було... А — а — а, во! Вспомнил! Штурбанфюрир! — Леня обрадовался, точно ребенок, внезапно нашедший потерянную игрушку.

— Так во! Стриги ухами! Ночью мы катаем, значит, а тут хипиш, хай-вай, что за стрем, келешую я? Вдруг сквозь решку вижу, а катали мы прямо в его кабинете, эсэсы распахивают ворота и вгоняют во двор крепости харь триста жидков. Средь них и стары, и малы. Оказывается, шухер был и их всех приняли, без счета. Потому как их только потом пересчитали, так я своих Привозовских выкатал в стиры и отпустил.

Я глядел на Леню и ничего не мог понять, его жаргонная речь лилась, будто вода сквозь дырявое сито, и я не успевал переводить ее на нормальный язык и осмысливать.

— Я не понял, Леня, кого ты отпустил?

— Как кого? Привозовских жидков...

— А — а — а как ты мог их отпустить, ты же сам был арестованный...?

— Ну ты, брат, тугодум, я шо, не на русском языке чирикаю? Мы-то катаем, а этот штурбанфюрир игровой до костей был, я сам уже послая все кумекал, шо за фашист такой? Так вот, мы-то катаем и вдруг я вижу средь стада один, второй, третий, четвертый... с Привозу, я-то там и щипал в те года и оттудова и подвис краснюкам. А энти жиды мазевые были завсегда по отношению ко мне... Я и говорю эсэсу: — Давай на людей катанем! Он в непонятке, а к тому времени уже въехал вчистую мэне. Он и вопрос рисует: — Как это? Я, чирикаю, один проигрыш — отпускаешь одного, на кого тыкну пальцем. Он давай

калган чесать и балакает: — Давай! Зенки у него разгорелись: — Тыкай сразу, а как проиграешь, я его тут же пристрелю, годится? — ставит мне вопрос. Тут я стал калган чесать, а после думаю, ах ты, фашист. Шоб я тоби въехал, да век воли не видать! И стали катать! Через час он мне на девять рыл и попал, и шо ты думаешь? Отпустил, сученок, во какой эсэс был, за карточный должок, как за святое, ответил. Я потыкал пальцем на жидков, он дал приказ и выпустил их. Бедные, они все трясутся... как теперь помню...

— Леня, а они-то хоть поняли, что это ты их спас?

— Кого? Они на кривых цырлах тиканули, жить-то усечуют...

— Леня, а если бы ты въехал?

— Я бы не въехал... хотя усякое бывает, это же катка!

— Так, а зачем ты взялся за это? Тебе их стало жалко?

Ответ Лени-Жокея, старого вора, меня поразил и на всю жизнь застрял в моей памяти.

— Вот, малек, шо я тоби ляпну. Стриги ухами! У етой сучьей жизни, ежели ты можешь чисто по-человечьи поступить, то делай и не жди благодарности. Потому как за благо нельзя, то твой поступок. А вот если получил с кого за гадское, то людям скажи об етом, чобы знали. Такой-то, такой-то, мол, гад, и с его получили.

Я взглянул на него и замер. Было так красиво. За окном вечерело, и в окна лился густой предзакатный сиреневый свет. Лучи его били в стену над изголовьем старого ворюги Жокея и, рассеиваясь, окутывали его светящимся нимбом. Серый гипсовый панцирь казался сиреневым, сплошь татуированные руки и плечи гляделись расписанными причудливыми узорами. Вся его внешность напоминала Святого Луку и гармонично вписывалась в угол комнаты с нависающей над ним большой старинной иконой.

— И сколько ты, Леня, всего отсидел?

— Шо тебе це, не мусорская анкета...

Мне стало неловко, и чтобы выправить ситуацию, я промычал что-то нечленораздельное.

— Не журишь, если не считать коммун и малолеток, то тридцать пять, точно Муся знает, у нее спроси, она все мои приговора наизусть помнит.

Муся была уникальной женщиной, она говорила так:

– Уся Одеса провожала, как я девятнадцатого октября у пятьдесят третьем, выехала до Ленечки в Магадан. Лагерь в голом васере, усех под амнистию нагнали, только глухарей «заморозили», меня прямо в зону к ему и впустили...

Или: – Восьмого апреля у шестьдесят четвертом Ленечке довесок был за два трупика, а я причапала на лесоповал, ему спирт в «трюм» загрела...

В один из дней, вернувшись из города, где гулял по Масандровскому пляжу, Потемкинской лестнице, я застал у Лени интересного типажа.

– Познакомься, это Моня. Моня мне прикалывает за интересные вещи, ты послухай, у тэбэ ум светлый. Так взять мы это взяли, и шо мы с етим будем робить?

– Как шо? Робить и будем...

– Ты вон ему, ему, я хочу, чтобы он нашел антирес...

Моня – тонкий, чернявый жидок, недоверчиво косился на меня. Взгляд его говорил: Что за блажь стукнула старого по бестолковке?

Но раз Жокей молвил, надо рассказывать.

– Та мы кабак один цапнули. Дом отдыха кооператоров. Ну, там як замок старинный на холме, и в ем нумера для лохов, а внутрях кабак. Коняшки там, и эти, как их...

– Бизоны, – подсказал Леня, поражая меня.

– Бизоны с Америки, шоб лохи за имя гонялись, олени усякие...

Позже, когда Моня ушел, Леня закурил сигарету и затеял долгий разговор.

И вот, уступив настойчивым просьбам Лени, я оказался посреди широчайшей украинской степи, такой, какую описывал Гоголь. Высокие, сочные травы, слегка покачиваясь под легким ветерком, стояли выше колес автомобиля.

На вершине холма разлетелся мощными крыльями причудливый, выстроенный под старину, замок с острыми башнями. Рядом ютились какие-то строения.

Рассекая степь на две половины, огибая замок, текла широкая светлая река.

За огороженным сеткой рабица забором вольно паслись олени, могучие бизоны, дикие козы. Это и был Ленин антрес. Он упросил меня присмотреть за всем этим, пока сам не поднимется на ноги.

Отель был набит приезжими. Уже тогда заработавшие свои первые капиталы богачи хотели отдыхать по полной программе. Холл отеля сверкал новенькими однорукими бандитами, работало казино, бассейн отсвечивал голубой водой, сауна, тренажерный зал, и главное — в конюшне нетерпеливо постукивали копытами горячие кони. Прямо внутри холма располагался шикарнейший ресторан, освещаемый искусственными факелами, с рыцарями, закованными в железные латы. Персонал ресторана сновал, облаченный в одежду тех времен.

— Десять деньков они тут кайфуют, а посла на автобусе повезем их на море, на шхеру с парусами. За это они башляют нам большие филажи, — разложил мне программу Моня.

Я столкнулся с ней в высоких, кованных железом дверях. В свете горящих факелов ее лицо было необыкновенной красоты. Блики огня падали на высокий лоб, щеки, и отражались в огромных глазах. Мы оба застыли на месте, точно каменные изваяния, несколько секунд показались нам вечностью, и мне померещилось, что между нами существует неведомая родственная связь. Она была сформировавшейся женщиной с холеным, умным лицом. Взгляд ее бархатных глаз оценивающе окинул меня, но не смутил, напротив, я поклонился незнакомке и взял кончики ее пальцев в свою руку.

— Я провожу вас, — и, не разобравшись в сплетениях ходов, повел в какие-то подсобные помещения.

Она рассмеялась и потянула тонкую нежную кисть, не отнимая ее, а увлекая за собой.

— Это мне надо проводить тебя...

Ее слова прозвучали мягко и заботливо, я почувствовал, как внутри разгорается всепоглощающее пламя возникающей любви и обдает всего меня.

Я не замечал, что уже принесли и разлили по бокалам вино, не смея оторвать своих глаз от ее прекрасного лица, великолепной фигуры. Я нес какую-то ахинею, читал Есенина и больше всего боялся замолчать. Мне казалось, что я наскучу

ей, и она зевнет, прикрыв ладошкой красивый рот и отправится спать.

Я чувствовал себя Андрием, очарованным прекрасной полячкой. Каково же было мое удивление, когда она открылась мне.

— Ты не ошибся, я действительно чистая полька и притом гетманских кровей.

То ли степь Украины произвела на меня свой гипноз, то ли из-за каждого изгиба холмиков я ожидал, что вот-вот появятся три всадника.

Посередине, на мощном коне, кряжистая фигура Тараса Бульбы, а по бокам Остап и Андрий.

— Что, притомились, чертовы дети? — вынув люльку изо рта, спросит Тарас.

Мы пили вино, оно сверкало, переливаясь в свете огня, хрустальные бокалы позвякивали и все прошлое, включая неволю, казалось увиденным во сне, придуманным, потому что в жизни человека не могло быть лучше, чем то, что происходило.

Прекрасная панночка Агнесса была откровенна. Она приехала с друзьями, ей хотелось отдохнуть, провести время. Она замужем. У нее богатый муж. Имеет дела с Украиной. Живет она в столице Польши, много ездит по Европе.

А я, что мог ей рассказать я? И я понес. Была-не была, где наша не пропадала! Как в песне: «Про тюремные дела и пропитую охрану, и глаза большие синие ее!»

Я говорил ей про неволю, извечную тоску, томящую сердце, пытался, слушала ли она Александра Новикова, и врал, что он мой друг.

Молчать было смерти подобно, я говорил о своих одиссеях.

Я думал, что она встанет и уйдет, но она не уходила, наоборот, все больше проникалась участием. Ее большие синие глаза переполнялись болью, она, сама не замечая того, гладила мои руки и все больше пила.

Высокое бархатистое украинское небо было полно крупных ярких звезд, а на острове, разделяющем реку на два рукава, горели, выбрасывая снопы искр, костры и пели хором цыгане.

Ах! Разноцветные цыганские юбки! Хор, влекущий всякого к безумным поступкам, потому что кажется, что ничего нет, кроме вот этого мгновения! Воздуха, напоенного густым ароматом трав, звенящими цикадами и шальными аккордами семиструнок, улетающих в черноту ночи.

К Агнессе подходили ее друзья, звали, но она ни на минуту не разомкнула своих пальцев, сжимающих мою кисть.

Наша ночь была незабываемой. Ее губы пылали жарче огня, и слышно было, как под изумительной формы белой грудью громко стучит сердце. Мы пили вино, я носил ее, обнаженную, на руках, падали на широкое ложе и скатывались на пол.

Агнесса, Агнесса! Мы скакали с ней по огромному вольеру, гоняясь за быстроногими козами, она метала лассо и была пленительной в одежде ковбоя.

Ее смех разносился звоном колокольчиков по степи, а жгучие, цвета вороньего крыла, волосы метались на ветру.

Я отставал от нее, любуясь тонкой фигурой, и ловил себя на неотвязчивой мысли. Если я себя чувствовал Андрием, то мысль о том, что он предал Остапа, старого Бульбу, запорожцев, преследовала меня, не давая сосредоточиться.

Потом было море, парусная шхуна «Товарищ», крупные белые чайки, голубые волны, красное вино и всюду, всюду синие глаза Агнессы.

Но все когда-нибудь кончается! Я понял, она была посланием судьбы мне, как плата за страдания!

Однако, вернемся же, ко второму походу за славой!!!

Вечером, после съемок, мы с оператором все же надрались, было за полночь, как вдруг он заявил, что ему нужна женщина и ситуация такова, что он уже не может снимать.

— Час от часу не легче, — подумал я, — но если организм на грани срыва, оператор есть оператор и проблему необходимо решать.

Я попросил местных раздобыть некую особу, о красоте не шло речи, МИСС в это время было не найти и я стал подливать ему, в надежде, что спяну он не станет привередничать.

К двум часам привезли. Она выглядела совсем заброшенной.

— Мальчики, поимейте меня, — гундосила девка.

— Сейчас, сейчас, — обещал ей я в расчете на Рифа, но он вдруг заартачился. Я делал вид, что игра стоит свеч, и все же оказался неважным психологом.

— Убери ее, зачем это? Не надо...

— Как зачем? — спросил я, холодея от того, что он раскусил мой план.

— Композиция должна быть, скучно это, с ней не получится, я же художник... — уперся пьяный Риф.

— Ты прав, должна быть композиция, но где ночью найдешь такую... — бормотал я, оправдываясь, внутренне негодуя на его художественный вкус.

На следующее утро выяснилось, что предыдущее было легче. Из-за воскресного дня не было массовки и вновь пришлось ломать голову, как выкрутиться.

— Езжай на местный базар, собери всех бичей и вези их сюда, — велел я второму режиссеру.

И уже спустя час, переодев заросших многодневной щетиной людей с пустыми глазами, расставили их носить на заднем плане тяжеленные шпалы, и мне было жалко, но внутренний голос кричал:

— Во имя кино все жертвы оправданы!

Несчастные бомжи под тяжестью шатались на подкашивающихся ногах, из стороны в сторону, в надежде на дешевый портвейн и колбасу, от которой в принципе могли и отказаться.

В кадре получились настоящие узники ГУЛАГа, доведенные непосильным трудом до дистрофии, и когда впоследствии они не вошли в монтаж, было обидно.

На переднем плане Каратас с поэтом-доходягой должны толкать в гору груженный вагончик, но оказалось, что некого снимать конвоиром. Группа без слов глядела на осветителя Диму и, не выдержавший лучившихся надеждой взглядов, Дима взорвался:

— Да вы че в натуре, если уж играть, то хоть не мусора...

— Димон, ну тебе, что ли, объяснять? — весомо высказался ассистент оператора Оскар: — Надо!

— Ну, давайте винтарь, в натуре, я вам шас сыграю...

Курьезы преследовали киногруппу один за другим, создавая немыслимые проблемы, и только непринужденная атмосфера, поддерживаемая весельчаком Димой, помогала относиться к ним с иронией.

Надо было снять сцену, где герой войны Каратас, не выдержав унижений со стороны подлого чекиста Кодара, связав его, как барана, и бросив поперек седла, обращается к толпе испуганных людей. Согласно сценарию перед Каратасом стоят одетые в рубище бедняки-жатаки с убеленным мудрым старцем впереди и со страхом глядят на еще недавно грозную советскую власть.

— Аульчане! — сверкая глазами, в ярости сжимая винтовку, кричал актер, — вы знаете Кодара, пользуясь властью, он пьет кровь собственного народа, и если вы скажете мне убей, я убью его, как подлого шакала.

Из труб мазанок, в которых ковыляли старики со старухами, устремляясь к небу, едва тянулся жидкий дымок, и не было массовки, молодежь крохотного аула в поисках лучшей доли ушла в город.

Вошедший в образ актер кричал в пустоту, было смешно и грустно.

Вдобавок актера ударила копытом лошадь, и теперь он в кадре боялся подойти к ней.

Шумно, точно кочующий табор цыган, отсняв эпизод, мы погрузились в автобус и выехали в сторону отрогов Шынгыстау.

В тесно сгрудившемся у подножья ауле группу разобрали на ночь местные жители.

Хозяином избенки, куда волей судьбы попали режиссер, оператор и автор этих строк, оказался нестарый мужчина.

Уже за мутными стеклами висела непроглядная темь, наши голодные взгляды подобно трассерам скрещивались на пустом столе, когда, управившись со скотиной и покончив с домашними хлопотами, он, наконец, вошел в комнату.

Трижды обсудившие предстоящие съемки, высыпавшие друг другу кучу старых анекдотов, вздохнув, с верой и надеждой, мы осторожно переместились ближе к шипевшей кастрюле.

Пар, вырывавшийся из нее, разносился в передней и дразнил до рези пустые желудки. Еще не совсем запущенная женщина принялась собирать нехитрую снедь, и на дощатой поверхности зажелтело топленое коровье масло, холодные баурсаки, квадратики сахара.

В довершение натюрморта она достала из закровов бутылку водки с выцветшей этикеткой и торжественно водрузила на середину. Крупные белые хлопья снежинками кружились и медленно оседали на дно посуды.

Содержимое было явно грустного качества и риск выпить приравнивался к экстриму.

Однако хозяин заскорузлым пальцем скovyрнул пробку и щедро наполнил жидкостью граненые стаканы.

Точно смертельного яда отхлебнул я глоточек пойла, мои несчастные товарищи цедили с каменными лицами и искоса бросали взоры в сторону кастрюли. Булькающая сорпа лилась через край серой пеной и шипела на раскаленной плите. В памяти невольно всплыла детская сказка про Алдара-косе и жадного бая, где безбородый обманщик рассказывал скупцу следующее:

«В пути я видел огромную змею, похожую на недоваренное казы, что ты спрятал под подушкой», — терпеливо повествовал народный герой, вынуждая толстосума бросить в кипящий казан укрытый деликатес.

«Однажды в тайге я набрел на одинокую избушку, где на печи варилась оленина, и хозяин, оказавшийся глухонемым, поймав мой оголодавший взгляд, налил большущую чашку...» — принялся рассказывать я.

Но ухищрения оказались напрасными, мужик не понял тонкого подтекста, накладывая масло на хлеб, прицыкивал языком и подливал смертельную воду по второму кругу. За всю жизнь я не встречал столь болтливую человека, рот его, не закрываясь, выбрасывал слова с частотой пуль, и я видел, что надежда товарищей на сытный ужин тает как снег. Их взгляды становились все грустней...

Пошатываясь, я поплелся на топчан и обессиленно растекся поверх старой овчины шубы. Я напоминал себе выбро-

шенную на раскаленный берег медузу, которая плавится в знойных лучах солнца.

Режиссер с оператором продолжали оставаться, их терпению можно было позавидовать, я уснул и в привидевшемся чудном сне увидел, как в тарелку мне хозяйка наливает дымящийся суп.

Наутро оказалось, что некому играть старика — родственника нашего героя, и мне пришла идея снять болтуна-хозяина.

Скупцу приклеили бороду, нарядили в чапан, посадили на лошадь и растолковали текст.

Необходимо было подъехать к герою и произнести фразу:

— Здравствуй, племянник, Жулдуз заболела, — и после некоторого молчания добавить: — Мне ехать надо.

В горах свистел жуткий, проникающий сквозь одежду колючий ветер, камера была установлена, и Рустам, пряча нос в воротник свитера, закричал: — МОТОР, НАЧАЛИ!

Группа замерла, раздался цокот копыт, в кадр въехал наш старик и после долгого молчания стал чесать державшуюся на честном слове бороду.

— СТОП! — вскричал Рус.

— Почему ты не стал говорить? — возмутилась группа.

— Я слова забыл, — промямлил тот, чей болтливый язык до утра не давал ребятам спать.

— Вы скажете: «Здравствуй, племянник, Жулдуз заболела». Уяснили?

— Ага...

— Давайте на исходную, пожалуйста.

— Приготовились! МОТОР, НАЧАЛИ!

И вновь группа напряженно слушает гул копыт, в мониторе появляется конь со всадником и уже все, точно морзянку, выстукивают сквозь синие губы: «Здравствуй, племянник, Жулдуз заболела».

— Жулдуз заболела, — произносит ночной болтун, услышав подсказку.

— СТОП! Ну что же вы, — укоряет Рустам. — Вроде такой дедушка хороший. Давайте заново.

— У те — бя все го — то — во? — шепотом, от холода разделяя слова, спрашивает Рустам у Рифа.

– Го – то – во!

– МОТОР, НАЧАЛИ! Пош – ли, дед – ушка!

Обжигающий ветер, горы, старик верхом на кляче в который раз, после затянувшейся паузы, выдавливает из себя:

– Племянник, Жулдуз заболела...

– Здравствуй, племянник, Жулдуз заболела, – хором кричит разъяренная группа.

– Что с вами? Ночью вы так хорошо говорили, – вежливо поражается Рустам, в то время как замерзшие киношники готовы растерзать лжестарика.

– Попробуем еще раз. Соберитесь, пожалуйста. Рифкат готов?

Рифкат уже не отвечает, всякие произносимые слова выносятся из организма остатки тепла и жизненную энергию.

– Пош – ли, дед – ушка! МОТ – ОР! НАЧ – АЛИ!

Гулко разносятся храп лошади, звуки камчи и чей-то тихий шепот: – Давай, аксакал!!!

– Здравствуй, племянник, Жулдуз заболела...

Едва слышимый вздох радости катится меж древних, покрытых мхом камней, и уже шепчут забывшему дальнейший текст всаднику:

– Мне ехать надо.

Но старик упрямо молчит, уподобившись Рифкату, он не разжимает губ и, перекрывая зумер работающей камеры, тишину рвет зловещий голос осветителя Димы:

– Да ты че, козел, в натуре, одурел, что ли? Сколько ты можешь кровь пить?

– Мне ехать надо! – вдруг с перепугу орет липовый старик.

– Во! Твою мать! Очнулся! Че орешь, как потерпевший? – кричит Димон и вся многострадальная группа, не жалея остатков тепла, сотрясая сонные горы, истерично ржет, хватаясь за животы.

– ХА – ха – ха – ха – ха!

– Охо – хо – хо – хо – хо!

На другой день мы снимали «Погоню». Герой Каратас, поверив предателю-родственнику, едет проведать любимую Жулдуз и попадет в засаду.

Едва только рассвело, как группа собралась к выезду в горы, и многочисленная, переодетая толпа массовки гарцевала на лошадях у автобуса.

На съемочной площадке я ставлю задачу конникам:

– Скакать будете в эту сторону! Впереди вас будет ехать Кодар, вот этот одноглазый НКВДэшник. Все поняли?

– Да!

– Приготовились! Мотор! Начали! – командует Рустам, и я машу массовке рукой. И что же вы думаете? Они рвут совершенно в другую сторону, а мне ничего не остается делать, как догонять их на бешеном галопе.

– Куда вам дан был приказ скакать?

– А ты чего раскомандовался здесь? Куда хотим, туда и несемся! Наши кони! – заявил мне один из всадников, и я потерял дар речи.

Но главное смешное нас еще ожидало: НКВДэшник Кодар соскакивает с коня и прицельно стреляет в Каратаса.

Актер, игравший Кодара, задумал лихо соскочить с еще не остановившейся лошади и забыл вытащить ногу из стремени. С древних времен кочевники спрыгивали с коня, перекидывая правую ногу не через круп, а через шею. А теперь вы можете себе представить, что произойдет, когда ваша левая нога еще в стремени, а правую вы уже перебросили через шею коня и спустили ее на землю! Вы падаете, сплетясь ногами, и ваше счастье, если лошадь умная, она остановится. То и случилось с незадачливым актером и продрогшая группа просто «вырубилась» от смеха.

– Мент – он и в Африке мент! – сказал Дима сквозь хохот.

Итак, наши всадники кое-как отскакали в нужном месте и, надо сказать, что лучше всех в эпизоде «Погоня» отыграла лошадь Каратаса.

Не зря мы везли ее за двести километров и тратили деньги на грузовик.

По сценарию Каратас очень любит своего верного коня, и лошадь, когда в нее попадает пуля, умирая, прощается с хозяином.

Но как это сделать?

Мы связали ей ноги и опрокинули на бок. И конь сыграл так замечательно, что некоторым актерам можно было поучиться у него. Он поднял голову и жалобно заржал, а из черного глаза покатила крупная, прозрачная слеза. Не было сомнений, что он прощается с любимым хозяином. И после того, когда что-нибудь не клеилось, в группе говорили:

— Поучитесь играть у коня!

* * *

Средь раскинувшейся вольно тайги, гонимый конвоем, брел усталый этап. Покрытые инеем кони и люди. Необходимо было снять сцену, в которой озверевшие собаки рвут выпавшего из строя заключенного. Не было ни каскадеров, ни защитного костюма, и неожиданно безжалостная армейская деовщина сослужила службу для кино.

Никто из солдат не желал сыграть этого бедного заключенного. Я заявил, что мы не уйдем из леса, пока не снимем эту сцену, и тогда старослужащие, видя безвыходность ситуации, поручили сыграть ее молодому солдату. Они отозвали его в сторону и со страшными лицами размахивали руками. Наконец, молодой сдался.

— Можете снимать, он сделает как надо, — объявил «старик».

От отчаяния прозрачное веко солдата корежила нервная судорога, вид его был растерян и жалок, но белое солнце скатывалось вниз, грозя свалиться за кроны елей, нельзя было терять ни минуты.

— Не бойся, их будут держать на коротком поводке, они не дотянутся до тебя — увещевал я солдата, в душе проклинавшего «стариков», кино и свою несчастную долю.

— Мотор! — закричал Рустам — Начали!

— Пошли! — заревел второй режиссер этапу. Этап колыхнулся, кони под седоками присели, всхрапнули, рванули с места, конвоиры хлестнули заключенных плетками, этап, извиваясь змейкой, потянулся, и вдруг один из заключенных, вывалившись из строя, покатила под склон. Свирепые псы захлебнулись пеной, закрутились на месте и рванули вслед, натянув до дрожи поводки. Настигнув упавшего, с бега прыгнули, за-

крутились, сбивая друг друга, и, не одерни их вовремя, разорвали бы несчастного.

«Ох уж эти псы! Натасканные на людей! Долго, специально тренируемые, они честно отработывают свой кусок и грех ненавидеть их, ибо они животные. А люди! Со времен Каина, убившего брата своего Авеля, катятся в тартары эпоха за эпохой, в бесконечных глупых войнах, в желании одних подчинить себе подобных, заставить их пресмыкаться, прислуживать, и даны им все Великие Книги от Старого Завета и Нового Завета, Талмуда и Торы до Священного Корана, но все напрасно! С тех давних пор, как они еще обменивались ракушками, до медных, серебряных, золотых и после бумажных денег, людская алчность, желание причинить обиду ближнему неистребимы. Не пугает их ни Великий потоп, ни последний день Помпеи, ни падение Великого Рима, и только святость, праведность малого их числа удерживает этот мир от скорой гибели».

Такие вот мысли сполохами разрывали меня в минуты, пока псы в лохмотья терзали балахон на худом теле солдата, бросившего свою плоть на растерзание им во славу кино и во имя спасения себя.

Но как говорил мой друг Шурик – все это депутатские мысли, а безжалостная проза жизни настойчиво и упорно возвращала в жестокую явь, в которой кончились деньги, нечем было кормить группу.

Если вы знаете, что такое выжатый лимон, тогда вы поймете отчаянность моего состояния, и что я напоминал в те дни.

«Эврика!» – воскликнул Ньютон, открыв закон земного притяжения, вот и я сидел в пустом, холодном номере санатория в раздумьях о «капусте» и вдруг громко вскричал:

«Эврика!» Едиль Хабдуллаевич!!!

Невозможно теперь представить, как человечество могло обходиться без сотового телефона, и нужен ли он вообще, если не в такую минуту?

– Алло? Едиль Хабдуллаевич, здравствуйте! Как вы? Я? Я на съемках. Да, да, снимаем. Спасибо, спасибо. У меня беда. Я остался без средств, нечем кормить людей.

– Сколько Вам надо денег?

– Чтобы продержаться – несколько тысяч долларов.

– Я вам завтра передам эти деньги, только снимайте, не останавливайтесь!

В крохотной сотке слышались гудки, он специально выключился, чтобы я не принял его благодарить.

Мы часто по-разному трактуем понятие интеллигентности и, как правило, неубедительно, в тот миг я понял, что подлинная интеллигентность – это оставить слова благодарности за чертой.

Кино безжалостно бросало меня из одной плоскости в другую. Во время съемок я жил переживаниями тех страшных лет, после них обрушивались бытовые проблемы группы, и если бы не спасительное действие коньяка, рассудок мог бы тронуться.

Предстояло отснять сложную сцену: побег и смерть командира. Каратас в лагере встретил своего командира и был потрясен этим. Актер Иванов играл правдиво, сидя на нарах, он плакал и, рассказывая о зверских пытках чекистов, говорил:

– Надо бежать, товарищ Сталин не знает, что за его спиной враги советской власти уничтожают лучших людей!

И вот мы снимаем побег. Герои бегут по заснеженной тайге, командир задыхается на бегу, падает, его легкие разрывает кашель, и когда беглецы достигают Енисея, он срывается с высокой кручи. Грудь насквозь пробита острым суком, часы жизни сочтены, Каратас несет его на себе и ночью, перед смертью, командир просит своего бывшего соратника: – Ты дойди, Каратас, товарищ Сталин не знает, ты должен дойти!...

Я смотрел на актера, грустно раздумывая, что тысячи Ивановых, больше чем отцу или матери своей, слепо верили кремлевскому горцу, испуская дух, шептали его имя, и в гаснущих взорах их светилась фанатичная вера. Для меня и по сей день остается тайной за семью замками, что это был за человек.

За последние годы я пропустил через себя огромное количество литературы и все же его личность осталась непостижимой, настолько она титаническая.

Незадолго перед окончанием экспедиции мы с Рустамом и местным поэтом по имени Кенжебек выехали на выбор природы. Дорога предстояла дальняя, и нужна была хорошая машина. Мы наткнулись на новенькую «БМВ» и упросили молодого водителя свозить нас. В салоне спал пьяный мужчина, отец водителя, и, видимо, предложенный гонорар был так заманчив, что парень не устоял.

Впереди было двести километров пути, и мы ехали, возбужденно обсуждая проблемы. Где-то на пятидесятом километре дороги проснулся мужчина и стал протирать глаза. Он долго рассматривал нас по очереди и почему-то сосредоточил свое внимание на мне. Рустам был одет в кашемировое пальто и синий творческий берет. Круглое лицо Кенжебека не внушало опасений и одежда на нем была мирная. Но стоило мужику взглянуть на меня, как тревога охватывала его целиком, и он принимался допытываться. Черное пальто в стиле «мафия» и суровое выражение лица не оставляли у него сомнений.

– Кто вы такие?

– Мы киношники, – отвечал мирно Рустам.

– Что значит «киношники»?

– Мы занимаемся кино, – вы уже знаете, что терпению Рустама может позавидовать всякий.

– Куда ты их везешь? – спросил мужик грозно, у сына.

– Они едут в аул Борли, – отвечал последний.

– Откуда ты знаешь, что они едут туда? – не успокаивался мужик.

– Нам надо выбрать природу, – сказал Рустам.

– Что вам надо выбрать?

– Природу!

– В природе? Я так и подумал, что вы блатные! Надел берет, и думаешь обмануть! – с видом Шерлока Холмса произнес пьяный.

Он стал озираться по сторонам и беспокойно поглядывать на дверь.

Рустам и Кенжебек сидели по обе его стороны, чтобы он ненароком не вывалился. Мужик понял, что окружен, и сделал вывод: жить осталось считанные минуты.

– Не убивайте нас! – жалобно попросил он.

– Да что вы такое говорите! Мы – киношники и едем на выбор натуры, – вновь стал успокаивать Рустам, и еще больше расшевелил подозрения.

– Я на последние деньги купил эту машину, у меня брат в Германии и он мне помог!

– Какого года автомобиль? – спросил я.

– Девяносто восьмого, – отвечал мужик неосторожно.

– Турбодизель?

– Турбодизель! – прихвастнул как всякий автолюбитель и вдруг спохватился:

– Зачем ты спрашиваешь?

– Просто так. Мы же про такую модель говорили, – обращаюсь я к Рустаму.

– Не убивайте! – завопил мужик.

– Отец, ну как тебе не стыдно! Люди наняли доехать, – парню было неудобно за отца.

– Да ты на их рожи посмотри, сынок! Какое кино? Что они сказки рассказывают, вон у того, что рядом с тобой сидит, лицо убийцы.

Это мужик произнес в мой адрес, и я не стал его разубеждать.

– Да нет, вы что, он наш продюсер. А это Кенжебек, поэт, стихи пишет.

Мужик покосился на Кенжебека: – Он, может, и пишет, но тот...!

Мы посмеялись и за перепалкой не заметили, как приехали в Борли.

Заметенный снегом аул выдавал себя тонкими струями дыма.

– Заверни и езжай по улочке, – попросил Рустам. БМВ свернула с дороги и, пробивая снежные наносы, дала круг. Избы были крыты шифером и не годились под старину.

– Здесь не получится! – сказал я Рустаму.

– Я вижу, – ответил Рустам кратко, но понятно для меня.

– Поворачивай назад, едем обратно в город, – сказал я водителю. Теперь уже и парнишка забеспокоился.

– Зачем же мы ехали двести километров? Вы даже из машины не вышли...

– Нас не устраивает этот аул, – ответил я.

Мужик встрепенулся.

— Бросаем машину и бежим, — крикнул он сыну.

— Да вы успокойтесь, пожалуйста! — стал просить Рустам.

— Они задумали нас убить и забрать машину. Зачем ты повез их на нашу погибель, сынок? — заскулил мужик.

— Сегодня мой день рождения, меня нельзя убивать.

— Почему? — черт дернул меня за язык.

— А говорите, что ничего плохого не хотите!

— Давай отметим день рождения, вот только нечем, — с сожалением выпалил Кенжебек.

— Как нечем? У меня все есть, открывай багажник, — сказал именинник.

Автомобиль остановился, и мы вышли из машины. Вскоре на багажнике появились водка и закуска.

— Ну — у, давай, за твоё здоровье! — поднял Рустам пластиковый стаканчик.

Мужик разлил еще по одной, и снова пропустили.

— Давайте познакомимся, — осмелел он.

Мы назвали себя и он в который раз стал рассказывать про брата.

Мороз пробирал, несмотря на водку, и мы «вздрогнули» в третий раз.

— Слушай, а может споем? — спросил мужик, и, не дожидаясь ответа, стал запевать.

Он обнял Рустама и Кенжебека за плечи: — Жить надо, мужики, а не убивать друг друга! Согласны со мной? — спросил он с русской прямоотой.

— Конечно! — поспешно закивали Рустам и Кенжебек.

— Эх — х, до — ро — ги, пыль да ту — у — ман,

го — ро — да, тре — во — ги, да степ — ной об — ман! — перепутал слова песни мужик и тут же насторожился.

И здесь нехстати, уж больно песня «шаркнула» по душе, я возьми и подхвати:

— Выстрел грянул, пряма — а — а в грудь,

наш дружок в бурьяне,

неживой ле — жит!

Отец с сыном чуть было не рванули в степь. Еле уговорили. Вот так и проехали четыреста километров!

* * *

Путь киногруппы лежал в Караганду. Оставалось позади произведение Доттера — пресловутый барак, разобранный жителями Канонерки за одну ночь, гостеприимная семипалатинская братва, замечательные актеры местных театров, полюбившие кино.

В Семипалатинск ехала скептически настроенная и наспех собранная съемочная группа, уезжала крепкая команда.

И вот, переодетые в робу, обвешанные спасателями, мы входим в железную клеть. Стоило ей гулко заскользить вниз, в крошечной тьме, как показалось, что она летит в самую преисподнюю, и от лихого захватства группы не осталось и следа. Крохотные вагончики, и трамвай с лязгом отправился в дальний забой. Мелькали ножки креплений, от грохота заложило уши и после бесчисленных подземных лабиринтов, наконец, прибыли на место. Дальше, по узкому низкому забою на подвесной монорельсе среди переломанных, точно спички, верхняков. Сквозь непроглядную пыль киношники опасливо глядели на вгрызавшийся в пласт комбайн, все гремело, и они ужасались от этого крошечного ада. Не унывал лишь весельчак Дима, продолжая отпускать соленые шутки. В глубине откаточного штрека мы снимали сцену, где Каратас встречает в шахте чекиста Кодара, заклятого врага, отправившего в сибирские лагеря родителей героя и позже его самого.

— Вот мы и встретились, сволочь, ты стал неугоден своим хозяевам, и они отправили тебя сюда, — Каратас выбивает ногой чашку с баландой из рук негодяя, Кодар в ответ истерично хохочет:

— Твои родители сдохли, а твою девку я имел за кусок хлеба, она приходила ко мне и умоляла накормить ее! Она ползала передо мной на коленях. Ха — ха — ха — ха!

По сценарию Каратас должен наброситься на бывшего НКВДэшника, повалить его и задушить как подлую гиену.

Шахтеры на втором плане изображали очередь за едой, раздатчик в крохотное окно кричал:

— Шевелись, вражины народные, оставлю без обеда... — и была атмосфера, отличная фактура, но мизансцена разваливалась.

Вяло играли актеры, не было в них взаимной ненависти, и я, глядя на их возню в угольной пыли, не верил сцене.

– Ты че, не можешь его придушить, в натуре, по-настоящему, по-киношному?

– Димон, давай ты сам.

– Да я, дайте мне... в натуре, одним трупом больше, одним меньше, если че, скажете, не рассчитал во время съемки...

Через полгода мы переснимем эту сцену в Алматинском метро, где нам придется строить декорацию шахты и изменить мизансцену. Теперь Каратас задавит негодяя Кодара вагонеткой и скажет:

– Собаке – собачья смерть!

Но тогда день под землей прошел быстро, едва успели отщелкать пару эпизодов, как закончилась смена, и пришлось закругляться, идти к стволу. Администрация шахты устроила группе праздничный ужин, водка из бутылок плавно переливалась в луженые глотки киношников и на душе было какое-то смутное ощущение.

Я возвращался в Алматы, переполненный впечатлений, историй, курьезов. Позади остались тяготы, холод, лишения, ссоры и это было только началом восхождения на Голгофу, всю тяжесть креста еще предстояло осознать.







Весенние съемки

«Вот и весна пришла к нам,
солнцем полна,
и унесла печали...» — напевал я, отогревшись и собравшись с мыслями.

С приходом весны и после непродолжительной подготовки они вновь были направлены к кино.

Каждый новый день был наполнен смыслом: встречи с актерами, утверждения на роль. Ожидание директора картины, безобидного Миши, вызывало томление в груди и непредсказуемость его поступков, вбрасывало мощные притоки адреналина в кровь. За первую экспедицию он уходил с картины трижды и всякий раз Миша делал громкое заявление, что мы не так снимаем, что кино — не игрушка.

— Я уйду. Подпишите заявление, — он ложил исписанный лист бумаги.

Я стоически произносил: — Хорошо, Миша.

— Вы никогда не снимете фильм, — пророчески бросал Мишаня и демонстративно хлопал дверью. Через пару дней Миша возвращался, я делал вид, что ничего не произошло, и он молча приступал к работе. Так мы готовились к предстоящим съемкам, в офисе то и дело раздавались крики, искали Доттера, он всем был нужен, все упиралось в Серегу. Но самым интересным явлением было полное отсутствие денег, и главное — они не проглядывались на горизонте. Я исступленно занимался поиском финансов, проявляя чудеса изобретательности и авантюризма, и что немаловажно — поражая верой кредиторов.

При встречах с ними я рисовал красочные и увлекающие полотна готового кино, разжигая в них противоестественный интерес. Поразила меня встреча с директором студии «Казах-

фильм» Касымжановым, и она же, несмотря на ее сумбурность, вселила надежду. Он принял меня в своем кабинете, выслушал и спросил: — Сколько нужно?

Я ответил.

— На следующей неделе устроит?

Я отказывался верить своим ушам и, как оказалось, интуиция меня не подвела. Через неделю, когда я уже потирал руки, он был уволен, об этом все знали и лишь я, витавший в облаке счастья, получил шокирующее известие в последнюю очередь. Ситуация была приближенной к туше, требовалось увернуться от надвигавшейся катастрофы, и тогда я устроил показ снятого материала Досхану Жолжаксынову. После окончания просмотра Досеке произнес:

— Давай заложим мою квартиру «Казахфильму» и возьмем у него денег.

В который раз за время съемок я был сражен, и сердце наполнилось добрыми чувствами к этому благородному человеку.

Так я познакомился с Сергеем Азимовым, приди он на неделю позже, я бы успел получить деньги на продолжение фильма, и Досеке не пришлось бы закладывать квартиру.

* * *

Дорогой читатель! Теперь, возвращаясь к предисловию, я расскажу вам о том, как мы сняли эпизоды, когда наш герой садится в поезд и отправляется в сложный, как и сама его жизнь, путь.

Сложный, потому что лишь по прибытии его в конечную точку мы узнаем о цели приезда и станем вначале смутно догадываться о том, кем доводится ему старик, у которого он поселится.

Судьба героя, вора в законе по кличке Единственный, станет по квадратикам мозаикой вырисовываться перед нами и постепенно соткется огромное полотно, насыщенное страданиями, болью, роком.

Я теперь должен сделать разъяснение уважаемому читателю о принципе строения этого романа и предупредить, что созда-

ние кинополотна хаотично для людей несведущих. Начало конной атаки снимается в одном городе, и уже сам объект атаки — аул, где-нибудь за сотни километров.

Но в этом и чудо кино! Силы монтажа способны объединить эпизоды, снятые в разных местах и выдать зрителю как непрерывное действие. Но при этом должны соблюдаться непеременимые условия: цвет, (например, теплый или холодный), аналогичность географии.

(Например, если начало атаки происходит в пустынном рельефе, то и домики аула должны находиться в характерной местности).

Я предложил для вашего чтения роман, берущий начало с погони за уходящей натурой, и хочу, чтобы вам стало доступно, почему именно так я ее выстроил.

Отправляйтесь в это сумасшедшее предприятие вместе со мной, переживайте, рискуйте, познавайте, голодайте и в финале побеждайте! Я уверен, будь он сделан в другом варианте, вам было бы неинтересно тратить время и деньги на такое чтение, ибо для узкой публики создали свои великие учебники Эйзенштейн, Ромм, Пудовкин. Я зову вас не только отправиться в путешествие за границу кадра, оказаться сопричастным сложнейшим пережитиям, но и увидеть полный опасных приключений мир автора.

Простите меня за это отступление, но без него мне было бы сложно вести повествование и держать вас заинтригованными.

Итак, Единственный едет к человеку, давшему ему жизнь, к отцу, которого он никогда не видел.

Нам выделили пустой вагон, и мы принялись творить. Все шло гладко, и не было никаких курьезов, если не считать, что в суматохе забыли снять некоторые дорожные сцены. Позже это мне дорого обойдется. Недоснятые куски вылезут во время монтажа, и мне придется доснимать с командой из четырех человек.

Но до этого еще было далеко, и мы с фанатичным блеском в глазах ведем весенние съемки.

СЪЕМКИ ДЕТСТВА

Выросшего в детдоме Жалгыз после конфликта с жестоким воспитателем судьба приводит к Карнаухому и детские годы ведет их вместе по извилистым тропинкам жизни.

Долго, очень долго нам пришлось искать мальчика на роль маленького Жалгыз, пересмотрели сотни детей, в глазах героя должна была сидеть неведомая грусть и вдруг мы с Рустамом нашли его в подлинном детдоме. Удивительно было то, что он имел поразительное сходство со мной — взрослым Единственным и теперь наша веселая группа беспрерывно шутила:

— Признайтесь, был грех?

С остальными детьми стало легче, их быстро подобрали, утвердили и, проведя репетиции, начали снимать. Это было самое упоительное время для меня, и причина крылась в следующем.

В романе «Каждый взойдет на Голгофу» я описывал фрагменты своего детства, они и легли в основу сценария, таким образом, наша история стала оживать на пленке.

В моем собственном детстве, после ранней смерти отца, мама вышла замуж за другого человека, и это сыграло негативную роль. Хотя кто знает, что могло стать со мной, проживи я другую жизнь и не убеги тогда из дома? Поселился я у Алика Карнаухова, сироты и двоюродника. Родители его умерли, он жил с сестренкой Аллочкой, а старший брат Майдан у него сидел в тюрьме.

Мы воровали: уголь, дрова, соленья из чужих погребов, стираное белье с веревок, в школу ходили с жидкой тетрадкой и на переменах отнимали коржики у обеспеченных детей. Нашими друзьями были Яша, сын кочегара, Черный, росший в многодетной семье, вместе мы собирали пустые бутылки и сдавали их в соседнюю керосинку. Периодически мы с Яшей, любителем, как и я, странствовать, влезали на крыши пассажирских вагонов, отправляясь в неведомый путь. Мы дрались на станциях с цыганятами, которых в то время было много на вокзалах, питались объедками из урн, если не удавалось украсть, и ехали дальше, забравшись в идущий товарняк. Нас манила дорога, которая влечет и сегодня, за каждым перелеском, изгибом,

взгорком, пряча удивительный мир. Никогда не забыть мне плацкартный вагон, в котором везла мама вызволенного из приемника-распределителя сына-непутя, куда в очередной раз его угораздило попасть, и ночь — жуткую черную тьму, со-сущую за распахнутой дверью. Мелькали огни, столбы, ночной ветер сек лицо, сведенные руки прилипли к поручням, но свобода звала, раскинув объятия, и я прыгнул, бросая вызов страху. Тогда я оставил маму в грохочущем поезде, унесшем ее вдаль, и чувство вины за этот поступок гложет меня по сей день.

День за днем группа напряженно работала, и мы продвигались вперед. Отснято было голодное детство, первые кражи, приход из лагеря Майдана, и на очереди был лирический эпизод постельной сцены. Жалгыз — Единственный, вместе с другом Черным приходят к разведенкам и в жизни нашего маленького героя происходит важное событие, он познает женщину!

Я смотрел на роль соблазнительницы несколько актрис, но сделать выбор оказалось делом непростым и вдруг мой взор привлекла собственная секретарша. Алина была добрейшая душа, в ней проглядывалось милосердие и это оказалось решающим. Начали готовить Алину, причем сам герой, которому предстояло лечь в постель с женщиной, об этом не знал и я догадывался, что в жизни Бахыта — Единственного, такого опыта еще не было. Чтобы не травмировать мальчика, решили снимать без репетиций, и вот в убогой обстановке крохотного домика наступил вечер съемок.

По мизансцене Черный и Жалгыз пьют водку за столом со взрослыми разведенками, и героиня Алины жалеет Единственного:

— Господи, совсем еще ребенок!

На что Черный мгновенно откликается и заявляет:

— Ребенок, говоришь? Сейчас он тебя так отдерет, что никакой взрослый не сможет!

— Ну что же, посмотрим, на что он способен! Пойдем, Единственный, со мной, — зовет его Алина и увлекает в другую комнату. Старинный патефон играет «Амурские волны», Алина стаскивает с Бахыта рубашонку и прижимает его к своим большим грудям. Согласно мизансцене Бахыт начинает

всхлипывать, Алина гладит его по непослушным вихрам и нежно спрашивает:

– Что с тобой, мой мальчик, почему ты плачешь?

– Мне показалось, что ты моя мама! — сквозь слезы говорит Бахыт.

– Мальчик мой бесценный, какой же ты красивый! Никому тебя не отдам! — заявляет Алина, подсовывая Бахыту свою огромную грудь, и мальчик начинает ее сосать. Камера продолжает снимать всю сцену одним планом, Алина опрокидывает Бахыта на спину, его веки плотно сжаты и крупная Алина взгромождается на хрупкого мальчика.

– СТОП! — кричит Рустам, группа просто валится от смеха.

– Совратительница! — кричат все на Алину, — такого золотого мальчика, бессовестная!

– Я всегда подозревал, что Алинка озабочена...

– Господи! Она такая большая, он крохотный...

– Внимание! Приготовились! Второй дубль! — дает команду Рустам и тут же, на полном серьезе, участливо спрашивает Бахыта:

– Грудь нормальная, не соленая?

– Нет! — машет головой Бахыт.

– Сыграешь еще дубль?

– Ага.

– Если что, можешь ее не сосать, просто прижмись к ней.

– Чему учишь ребенка, Рустам-ака? — захлебывается в хохоте осветитель Дима. Надо сказать, что позже всю сцену пересняли, упростив мизансцену, оказавшуюся на редкость пошлой, а хотелось растрогать зрителя и не получилось! Зато Алинку впоследствии, кроме как растлительница, не называли, и вдруг спустя некоторое время происходит чудо. У нашей милой тихой Алинки стремительно, прямо на глазах растет живот и через девять месяцев она производит на свет мальчика.

– Усыновите сына, — предъявляет группа мне требование.

Бахыт ведь играл маленького Единственного, я взрослого, вот и выходит, что после ночи со мной Алинка родила сына Единственного.

– Да я ни причем! — отнекиваюсь я.

– Но он же вы!

– Да.

– Видно, это произошло, когда Алинка прикрылась покрывалом. Ха – ха – ха – ха!

– Какой шустрый!

– Не зря Черный говорил: «Он тебя сейчас так отдерет!»

Одним словом, повод был дан и группа еще долго иронизировала.

* * *

Теперь я хочу пояснить читателю, какую зловещую роль сыграл Майдан, брат Карнаухова, пришедший из тюрьмы и взявшийся за воспитание мальчишек.

Мне сегодня уже нелегко провести четкие границы между Майданом из реальной жизни, литературным персонажем и киногероем, ибо «Все перепуталось в доме Облонских», но я все же попробую решить эту нелегкую задачу. Итак, о Майдане.

В подлинной жизни Майдан был среднего роста, с лицом типичного уголовника, если доверять теории Ломброзо и амбициям нынешних криминальных авторитетов.

Колючие черные зрачки глубоко прятались под густыми бровями, толстые губы были чувственными, нос мясистым, но не крупным и, дополняя портрет, обращал на себя внимание твердый волевой подбородок. Прическу он носил короткую, с ровно подстриженной челкой и небольшими аккуратными бачками.

Из лагеря он вернулся в телогреечке, восьмиклинке и хромовых сапогах, с сидором за плечами. Привез с собой выкидные ножи, песенники, наполненные виршами про этапы, зоны и любовь, затмевающую разум, из-за которой шли на грабеж, а затем брали новые срока. Он вышагивал по дому в хромачах со скрипом, цедил портвейн из стакана и курил длинные папиросы «КАЗБЕК».

Рассказывал нам, сорванцам, про благородных, справедливых арестантов, о поножовщинах, фартовых «швырках» и удивительно красивых женщинах. Дух захватывало, когда мы его слушали с открытыми ртами, и перед нами открывались миры, в которых жили настоящие мужчины, рискованные, умев-

шие покорять судьбу, точно дикую, прекрасную кобылицу. Возможно, что и сам Майдан верил в собственные рассказы, теперь не узнать этого, однако в моей памяти он запечатлелся именно таким – дерзким и жаждавшим схватить за хвост подлюку-жизнь.

Майдан запомнился мне в белой водолазке, черном щегольском костюме, с воротником-стойкой и серебряными пуговицами.

Он брал гитару, запевая низким голосом: «ОЧИ ЧЕРНЫЕ, ОЧИ СТРАСТНЫЕ...» и сердца наши растворялись в его песне, словно в кислоте, мы готовы были умереть в тот же миг. Это был Великий Гипноз, длившийся вплоть до совершеннолетия и проведший меня по тесным улочкам беспризорной жизни, полной жиганства. Ныне задавая себе вопрос, какую роль сыграл Майдан в моей жизни, я отвечаю искренне и взвешенно – он помог мне вылепиться настоящим мужчиной. Таким был Майдан в реальной жизни, сказавший, что тюрьма – болото и, наложив отпечаток, пропал, сгинул в дебрях лагерей.

Мой литературный Майдан был похож на подлинного, но завел мальчишек, подобно Сусанину, в гибельные топи и оставил их, каждого наедине с судьбой.

Он научит Единственного, Черного, Яшу красть, гулять в ресторанах, любить доступных женщин и приведет их на скамью подсудимых. Покатится жизнь Жалгыза подобно выпеченному колобку по извилистым дорожкам, вагон-закам и лагерьям, жестоким университетам.

Как раз об одной такой экранной краже я хочу рассказать подробнее и обратить внимание читателя на мистику.

Катился старенький грузовичок времен «Очакова и покоренья Крыма» по вечерним улицам Алматы и наткнулся на ГАИшников. Взмах зебровой палочки прервал его надрывный путь, и оказалось, что у колесного ветерана нет номерного знака и техпаспорта, а есть только у «Газика» желание сняться в кино. Долго муржили гаишники, чуть было не загнали сивку за крутые горки и только небыль, рассказанная доверчивым полицейским Раей – директором фильма, спасла его от расправы.

Давно уже был выставлен свет у оператора, прорепетирована кража со взломом и недоставало только пресловутого

грузовичка, на котором должны брать магазин юные грабители, да нескольких ковров. Все тот же Доттер объявил мне об этом в последний момент, и ничего не оставалось, как привезти ковры из дома.

— Вот тебе реквизит, отвечаешь головой, — выдал я ему.

— О кей! — ответил Доттер.

К тому времени ветеран, фырча и чихая, добрался на съемочную площадку и Феллини (Рустам), не медля, начал творить.

В масках, вооруженные обрезам, пацаны стремительно ворвались в магазин, бросив на пол нашу гримершу Старикону, и стали швырять в кузов ветерана ящики, рулоны, в том числе мои домашние ковры. Сцена была отснята, рабочий день закончен, группа махнула по домам и наше трио (Рустам, я, оператор Рифкат) ударили по коньяку. На следующий день спрашиваю Доттера: где ковры?

Он отвечает мне: — Вы же их украли!

— Что ты такое говоришь, Серега? — ужасаюсь я.

— Единственный вчера их украл из магазина, группа может подтвердить, а после этого я их не видел.

— А при чем здесь я?

— Как при чем? Вы же Единственный!

У меня высохло в гортани, я почувствовал упадок сил и даже на то, чтобы обругать его, не хватило энергии.

— Ты не реквизитор, а экспроприатор, или проще — мудака! — пробормотал я.

Мистика ли это, не знаю, но ответ Доттера был таков и он мне наваял забытую армейскую историю.

* * *

Мой призыв готовился к увольнению из доблестных рядов воздушно-десантных войск, и мы, как говорится, надраивали бляхи. Ребята клеили дембельские альбомы, вили из шелковых строп аксельбанты и точили подковы с напайками. Только один я бесцельно мотался по городку и не принимал участия в лихорадочном ажиотаже.

— Ты почему не готовишься на дембель? — спрашивали меня.

— Какой смысл? В военкомат сходить, что ли?

— Ну как же? Надо показаться бравым десантником! Сверкнуть, так сказать, орденами!

— Не хочу! — отвечал я равнодушно.

— Но хоть подковы сделай!

— Зачем?

— Не позорь ВДВ! Закажи вон Мониному, он тебе сотворит!

— Ладно, так и быть, подковы закажу! — согласился я, не ведая, на что себя обрекаю.

Вечером того же дня, сидя в Ленкомнате, Монин рисовал на бумаге подковы.

— В каждой из них я просверлю по три отверстия, — обещал Монин.

— Победитовые напайки будут рассыпать магниевые искры, — воображение рисовало себя идущим по Караганде бравым Швейком, и красивейшие девушки оборачиваются вслед.

— Делай, Монин! — сказал я. — Освобождаю тебя от занятий, работ, караулов.

— Все будет лучшим образом, две подковы, на каждой три отверстия под шурупы и, наконец...

— Начинай, Мо — нин! — я уже стонал в нетерпении.

Прошло две недели, о подковах я забыл в суете армейских будней и тайных ежедневных самоходов. Неожиданно вспомнили о них дембеля, разговаривая о девушках, и стали интересоваться судьбой злополучных железок.

— При чем девушки и подковы? — изумился я.

— Девушки ладно, что с цокалками?

— Позовите Мониная.

— Я нашел железо — тройку, ах нет, четверку, — начал хитрец, хотя я и теперь не отличаю разницы, — раскрыл их автогеном, шлифанул наждаком

— Иди же, делай Монин, делай!

Цепочкой потянулись дни, Монин исправно являлся с докладом и рассказывал о них с любовью, словно это было делом его жизни.

Еще через десяток дней он таинственно склонился к моему уху и загадочно прошептал сладкие обещания, вскружившие голову.

— Достал та — ки — е шурупы, под фигурную отвертку! Все будут завидовать тебе!

М — м — м! — и при этом прикрывал веки, точно во рту его был сладкий шербет.

— Мо — ни — н — н! Сгинь с моих глаз! — вскрикивал я, не в силах больше выносить искушение, и он послушно исчезал, точно Джин, прятавшийся в бутылке.

Время отчитывало неумолимый ход и уже вся рота с интересом наблюдала за развитием событий.

— Отверстия на шесть, жду токарный станок, рассверлить потай! — сообщал он, словно докладывал обстановку на фронте. Спокойная жизнь оказалась безвозвратно нарушенной.

Дембель приближался неизбежно, как крах империализма, а подковы не были готовы, и теперь я представлял себя идущим по улицам Караганды без них.

Мне казалось, что девушки будут смотреть на меня с долей жалости и пренебрежения, по ночам снились кошмарные сны, я утратил покой. Версии о подковах с победитовыми напайками разнеслись по части и теперь не рота, весь батальон напряженно следил за ходом событий.

Штабной писарь за вознаграждение «Агдамом» сообщил мне, что через пару дней мой ДМБ, и я тут же отправил за Мониным, сам же, ерзая на стуле, стал ожидать его явления.

Он появился из-за угла, на его лице застыла таинственная улыбка Джоконды!

— Ты представляешь, из четверки, в каждой по три отверстия, расточенных под потай, с фигурными шурупами, победитовыми напайками...!

Мы сидели, затаив дыханье, боясь пропустить хоть одно слово и чувствовали, как колотятся сердца.

— Да ты бы шел по улице и все девушки бы...

Дальнейшее просачивалось до моего слуха точно сквозь вату и мозг, бедный мозг начал ускоренную аналитику!

— Почему он говорит: — Ты бы шел? Разве я не пойду? Рассыпая магниевые искры? Чтобы девушки...

Монин двигался медленно, словно в рапиде, взгляд мой прилип к его губам и я не расслышал, а вычитал:

— оборачивались тебе вслед...!

— Что с подковами? — страшно вскричали я и дембеля хором.

— Бежал к вам, чтобы показать и, и, и... потерял! — глаза Монины умоляли: — Верьте мне, Люди! — кричали они. Я сидел обессиленный, и единственное слово, что я обронил, это было «чудак», на букву М.

* * *

Кино с каждым эпизодом возрождало мне мою собственную жизнь, и отчетливо я прочувствовал это, когда мы снимали эпизод «Бегство».

Видя, что дом окружают «красноперые», мальчишки бегут, спасаясь, через лаз. Они прячутся в заброшенном стоге, коченея от холода, выстукивая зубами азбуку Морзе, и, проникнутый сочувствием к другу, Единственный, сняв рубашку, рвет ее на части, заматывая ноги Карнаухому.

Казалось, что время повернулось вспять и, глядя на колотящихся в жутком ознобе мальчишек-актеров, я понял по-настоящему, насколько же обездоленным и горьким было мое детство.

Милиционеры выводили маленькую Аллочку, чтобы отправить ее в интернат, и девочка билась в руках у мента-актера, точно крохотная рыбка. Позже, когда мы наложим на этот эпизод музыку, написанную Жанар Сабит, этот кусок так заскребет по сердцу, думаю, что и зрителя он тоже по-настоящему тронул. Мы убрали ее голос, на экране видно, что она кричит, но музыка в сцене взматается и трагедия становится очевидной.

Итак, наши герои с приходом Майдана после удачных краж причесанные, приодетые, сидят в ресторанах в компании накрашенных девиц, едят вкусности и поднимают тосты за своего кумира, не ведая, что уже скоро загремят под «фанфары».

Этот эпизод снимался в привокзальном ресторане, где на удивление сохранилась архитектура того времени и что интересно, лепка на стенах, потолке была такой же, как в ресторане моего детства. Я чувствовал необычайный подъем внутри себя, какую-то хорошую злость, может, оттого, что не сгинул, не растворился в мрачных днях и теперь снимаю ее на пленку, эту свою прошлую жизнь!

Баянист наигрывал «Помнишь ты, крошка, сопливой гуляла!» — песню, под которую мы росли, и все было как когда-то, а сердце замирало, не веря в возможность повторения прошлого.

Наш герой, маленький Единственный, сидел, развалившись в кресле и разглядывал лепной потолок, а директор картины Раечка, не переставая, шептала мне: «Господи! Какой он холосенький!»

Но вот баянист дергает мехами, изливая вальс, лихой вор Майдан подхватывает на руки глядящую на него замороженным взглядом девчонку, и Единственного ведет в круг его первая женщина, наша секретарша Алина. Оператор Рифкат вращает объектив, снимая зеркальный потолок, как бы он кружится в глазах у Единственного и все по кругу: память, память, маленький, я кружусь, вскинув руки, под чарующие аккорды вальса!

И еще один ресторан, прокуренный синим дымом, играет старинный патефон, раздобытый Доттером, и Майдан назидательно учит маленьких воришек, что красть надо без крови.

Снимали очень поздно, в последний момент оказалось, что в мизансцене нет девушки, сообщающей об инкассаторе, которого надо ограбить, и я отправил ассистента на ночную улицу.

Оказывается, если Господь несет тебя на своих ладонях, то и нужная девушка сыщется на освещенном перекрестке, кстати, идущая на вокзал, потому что через три часа ей отъезжать!

Когда я ее увидел, сразу понял, что именно такой она и должна быть, наша девица, и приказал костюмеру переодеть ее, приводя в ужас группу. Вскоре, однако, ее привели, причесанную, с подведенными глазами, в темно-синем крепдишиновом платье. Вылитая красавица тех лет, жаждавшая денег и любви, томной, как душная июньская ночь.

Стали репетировать, девушка оказалась способной, и все стало получаться, напряжение спало, мы решили снимать.

В кадре наша девушка, с полуслова понимая задачу, кокетливо протянула руку Майдану и назвалась Дашей:

— Я работаю в банке, инкассаторы в получку привозят боль—ши—е деньги, — сказала она и округлила свои прекрасные глаза.

– Большие – это сколько? – спросил Майдан.

– Двадцать пять тысяч рублей! – ответила Даша, и наши малолетние герои переглянулись, оторопев от цифр.

– Мы не мокрушники, – выдержав паузу, достойную серьезного вора, вымолвил Майдан, – красиво украсть, да! Но только без крови! – и еще помолчав, позвал Дашу на танец – пойдём Даша, потанцуем!

И опять гремел вальс, в танце кружились Майдан с чудонаходкой, красивой уличной Дашей, в папиросном дыму пили горькую водку Единственный, Яша и Черный, не зная, что чаша свободы уже испита до самого дна!

Следующим эпизодом в монтаже мы поставили сцену, где их во главе с Майданом, окруженных милицией, выводят со двора и под головокружительную музыку Жанары братву грузят в «черный ворон».

«Черный ворон, черный ворон, черный ворон,
переехал мою маленькую жизнь!...»

Мальчик Жалгыз сидит на корточках рядом с запретной полосой, а за его спиной «борзый малолетка» бьет «чухана» и требует деньги:

– Чтобы завтра были! – приказывает он и для Единственного начинается отмерение другой, страшной жизни.

На фоне темнеющего неба зловеще выступала вышка с часовым, отрезавшим теперь ему дорогу к воле, и было жалко глядеть на него, сжавшегося, точно воробышек, забывшего, что все происходящее – лишь кинопроцесс.

Я увидел себя в путаном детстве и подумал, что жизнь, точно минное поле, широкий простор, у края которого голубеет полусфера горизонта, но куда опустить ступню, где не полыхнет, не развернется из-под тебя земля-матушка?

ИНГА

В проходе вагона стоит юная блондинка с двумя заплетенными косичками и игривый ветерок треплет на ней легкое сатиновое платьице. Лицо девушки чистое, мечтательное и вся ее тонкая фигура мгновенно притягивает взор. Она смотрит в

окно на летящие мимо пейзажи и случайно вышедший из купе законник, завидев ее, превращается в соляной столб.

— Не может этого быть! Это память преследует меня!

— Что вы имеете в виду? — спрашивает удивленная девушка и, заинтригованная странным монологом, разглядывает мужчину.

— Вы очень похожи на девушку, которую я любил в своей молодости, — пространно, будто в гулкий колодец, бросает слова, не отрывая взгляда с юной спутницы, Единственный.

— А как ее звали, вашу девушку? — попутчица волнуется.

— Ее звали Инга, — отвечает вор, роняя слова и чувствуя, как прилив воспоминаний уже уносит его в давно пролетевшие точно стая птиц, времена.

— Но меня зовут Таня! — растерянно произносит девушка, словно сожалея, что оказалась не той, дорогой памяти женщиной, для этого загадочного мужчины.

Поезд скрежещет тормозами и Единственный со спутницей резко качаются вперед. В этот момент к нашей очаровательной девушке подходит молодой паренек в грубом свитере и, наклонившись над чемоданом, зовет ее за собой.

— Наша станция, сходим... — парень поднимает багаж и направляется к выходу.

Девушка идет за ним, и мы видим ее отдаляющуюся хрупкую фигурку.

Лицо Единственного напрягается и искажается от неимоверной боли. Как вдруг девушка поворачивается и дружелюбно машет рукой.

— Мне бы очень хотелось выслушать вашу историю! — выкрикивает она и исчезает в провале двери.

Вор еще долго стоит одинокий в пустом проходе, и вопреки желанию его память отчетливо воспроизводит первую встречу с Ингой.

Эпизод возник в процессе монтажа, когда обнаружилось, что не хватает такой предыстории. Тогда я придумал эту сцену и, разыскав актрису Кордюкову, убедил ее в необходимости досье. Снарядившись, будто шли за линию фронта, вчетвером мы отправились на вокзал.

Оператор Аскар, администратор Рая, «звукач» и я. Актер, продюсер и режиссер в одном лице.

Я на ходу раскадровал сцену, и в пустом вагоне мы начали работу. Неожиданно возникла проблема, за спиной актрисы была пустота!

Кто же будет на заднем плане? И пришлось Рае одеть темные очки и стать на второй план.

Не хватало брата девушки, который создал бы динамику в кадре.

Я внимательно оглядел «звучача», молодого парня с косичкой и спросил его:

– Хочешь сняться?

– А кто станет писать звук?

– Подвесим бум над потолком, и он сам все запишет. А ты, Аскар, режь кадр таким образом, чтобы бум не попал в него, – решаю я, потому что другого выхода не было.

Трижды отрепетировав мизансцену и убедившись, что можно снять, включили камеру.

* * *

Зона, зона, воспетая в жалостных, заунывных блатных песнях, пугающая и точно обладающая черной магией – притягивающая.

Впускали по три. Первыми за решетку ступили режиссер, оператор и я, а группа переглядывалась испуганно, когда за нами захлопнулась стальная дверь.

– Вернитесь, мы все простим, – кричали они.

– От тюрьмы и от сумы не уйдешь, – отвечали мы из-за двери.

Инструктаж, проведенный начальником оперчасти, был жестким и безальтернативным.

– По лагерю передвигаться только в сопровождении контролера, запрещенных предметов не заносить, с заключенными посторонних разговоров не заводить... – и еще десятки инструкций того, чего делать было не положено.

Стали снимать сцену с Ингой, актрисой Кордюковой, игравшей по сценарию мастера столярного цеха, в которую влюблен Жалгыз.

Актриса, бывшая «Мисс Казахстана», шла по лагерной гравой дорожке, точно по подиуму, и вся изголодавшая по женс-

кому полу зона ревела от страсти. Главный «кум» Леонидыч был в ужасе и раз за разом повторял:

— Женщинам одним по лагерю не передвигаться!

Но кто бы его слушал, ассистентка Галка разгуливала по баракам, выискивая типажей, словно по собственной квартире, и шокировала эзков. Она распивала с ними чай и рассказывала про кино. Ей дарили поделки и восхищались ею. Ее приглашали в гости, на что она чувственно реагировала, отвечая: — Некогда, мальчики! — ощущая себя королевой зоны.

День ото дня мы упорно воспроизводили лагерные сцены Единственного, горькую эпопею его тюремной эволюции и вот пробил час освобождения. Отступая назад, я хотел бы коротко рассказать о его первой и великой лагерной любви к белокурой красавице Инге.

Не испытав родительской, особенно материнской, ласки, перенеся в детстве отчужденность и всю боль сиротской доли, Единственный впервые полюбил. Она казалась ему чудом; хотелось излить переполненную страданиями чашу и любоваться ею, следить за каждым вздохом, жестом, дыханием и все лучшие, красивые слова посвятить ей.

Хотелось верить, что он еще что-то сможет в своей глупой, бессмысленной жизни, явившейся ему сверху, обрекая его на бесконечные мучения.

Но это была зона! С жестокими законами, беспределом, борьбой за выживание. Невзирая на все, темными ночами он втайне от всех резал из дерева для нее подарок. Ей, белому облаку, неизвестно как попавшему в постылые лагерные пространства!

* * *

Весна в Алматы после слякотной зимы поражает буйством зелени и белоснежным кипением сирени. Вот из такого разноцветья прямо на камеру вышел освободившийся Единственный, поправил сидор за спиной, перебрросил беломорину в угол рта и зашагал с улыбкой на лице по узкому мостику, перекинутому через речку.

Был он возмужавший, в посуровевших карих глазах его промелькивала лихая злость, как в свое время у вернувшегося Майдана.

Единственный шагал по улице, той самой, по которой когда-то шел с Черным к своей первой женщине и, щурясь, всматривался в дома.

Вот и он, скособоченный! Все тот же забор, калитка со сломанной шеколдой, отсюда всё началось: первые кражи, Майдан, блатные всхлипы гитары и вдруг, разрывая воспоминания, к нему, застывшему с туманным взором, выходит Карнаухий.

Словно не было проскрипевших под занудный лай овчарок лет, они обнялись и Единственный с улыбкой на лице, вскинув, как когда-то Майдан, руки, восклицает:

— Птицы летят над моей головой.

В тесной комнате мы отсняли монолог Карнаухова:

— Я знаю, все вы на меня в обиде: и ты, и Яша, и Черный, и Майдан. Вы-то сели, а мне надо было Аллочку кормить, я уже давно не ворую, работаю.

Единственный зло курил, морщинил лоб, играл желваками и вдруг миролюбиво произнес:

— Ну ладно, всё уже позади. Мне бы с Ласточкой встретиться. На лице Карнаухова тень растерянности.

— Его же убили!

— Как это случилось?

— Его арестовали по подозрению в краже, он бросился бежать, и его застрелили.

Ласточку, авторитета и земляка Единственного по малолетке играл друг моего сына Ромка; он очень хотел сыграть, и мы решили довериться ему.

Он отыграл и уехал поступать в Россию, а мы сняли эпизод, в котором Единственный приходит к Ласточке на кладбище.

На старом кресте с облупившейся краской укрепили черно-белую фотографию Ромы и начали снимать.

Единственный сидит на могиле друга и пьет из граненого стакана водку, поминая его и выдыхая сквозь слезы:

— Как же так получилось, что ты меня не дождался, брат?

Мы отсняли, забыли, но когда его мама увидела на экране, на чужом кресте, фотографию своего здравствующего сына, терпение и логика ее начисто отказали.

— Что вы сделали с моим мальчиком? — кричала она в трубку, — заживо похоронили, похоронили!

* * *

Но вернемся к Единственному.

Единственный был влюблен, впервые в своей жизни он горел в безжалостном пламени любви и пылал в нем, как в свое время я сам. Потому что белокурая красавица Инга – персонаж, взятый из моей собственной жизни. Я встретил ее в безрадостный и унылый период жизни, а, полюбив, осознал, что навсегда опоен колдовским зельем этой любви. Мне хотелось воспроизвести в точности эпизоды, которые были в нашей с ней истории и когда они стали оживать в мизансценах, я уверовал в мистику. В кадре мой сын, игравший Единственного в среднем возрасте, лежал с Ингой в узкой кровати и гладил ее точеные мраморные плечи, а на плюшевом коврике скакал крохотный солнечный зайчик. И он был мной, а я Единственным – в чью сценарную жизнь я вложил кусочек своей, и моя Инга, исчезнувшая в лабиринтах памяти, вдруг снова явилась ко мне.

Мой сын лежал с актрисой, игравшей Ингу, и все происходило в точности, как со мной.

От этого кружилась голова, и я чувствовал приток необъяснимых чувств. Обращаясь к ней, он промолвил:

– Инга, сегодня я должен уехать. Есть дело, которое я хочу сделать, прежде чем вернуться к тебе навсегда. Я приеду, и мы больше никогда не расстанемся.

Эти слова произносил когда-то я, с той лишь разницей, что должен был уходить в армию. Единственный же уезжал с целью «подломить» кассу и с деньгами вернуться к ней, чтобы повезти ее к синему морю.

И я всегда мечтал о море, оно мне снилось по ночам, мне, степняку, отчего-то снилась безбрежная вздымающаяся пучина и было время, когда, начитавшись Джека Лондона, я жаждал морским волком бороздить соленые воды.

Море я увижу, а пока Единственный нежно ласкал актрису, и она ему негромко напевала:

– А любовь у нас с тобой была не длинной,
может, просто не дождалась мы любви!...

Голос ее был наполнен задумчивой тихой грусти, режиссер кричал:

– Стоп! – и лишь неунывающие ребята с группы шутили:

– Не хило Вы себе оторвали «Мисс Казахстана»! – а я переводил все на сына, отшучиваясь:

– Помни, с кем я тебя уложил в одну кровать, и не забывай, что долг платежом красен!

Потом были качели, как у нас с Ингой.

Качели смастерил Доттер из старых прогнивших веревок, без конца рвавшихся, и он терпеливо их связывал, беспомощно оправдываясь. Актриса боялась сесть на ветхую дощечку, неизвестно где взятую Серегой, а уж раскачиваться на тех качелях я и сам бы не рискнул. Но была весна, зла не было, поляна, усеянная желтыми ромашками, напоминала гигантский ковер и наши сердца тихо радовались. Нельзя прерывать сказку и мы начали снимать. Колесо времени, провернувшись, скинуло в омут канувшего, теперь проступившего точно сквозь мутное, засиженное мухами стекло, в моей задумой сужием прожитых лет памяти.

Единственный раскачивал Ингу над зеленым безбрежьем, она звонко смеялась, и тонкий смех ее летел между деревьями.

– Сильней, еще сильней! – кричала она, переполненная настоящим счастьем.

* * *

Потом было старинное здание вокзала, облюбованное нами на станции Отар, где все в округе навевало дух того давно забытого томного вечера, из которого я уезжал много лет назад, прощаясь с Ингой, не подозревая, что никогда больше ее не увижу.

Группа суежилась на перроне, расставляли скамейки, усаживали массовку, и все было готово в ожидании поезда. Уже отсняли кусок, где Единственный с Ингой, тесно прижавшись, идут под сенью деревьев и он обещает ей скоро вернуться, а она в ответ, выламывая руки от страшного предчувствия, грустно произносит:

– Мне кажется, что я тебя больше не увижу.

Внося сумятицу в тихую размеренную жизнь станции, с грохотом ворвался поезд и заскрежетал железом, оглушительно лязгая. Проводник, несмотря на наши разрешительные бумаги, наотрез отказался впустить актера, одетого в железнодорожную

униформу, и Единственного, который по мизансцене должен был запрыгнуть в вагон на ходу тронувшегося состава. Пока мы спорили с глупым упрямым, вагоны качнулись и медленно поплыли вперед.

— Рустам, снимай, уйдет поезд! — в отчаянии вскричал я.

— Единственный, Ира, — в волнении он назвал актрису по имени, затем по имени героини, — Инга, пошли, Единственный, вы больше никогда не увидите, но вы еще этого не знаете, вы это предчувствуете, вы, Ира, Инга, плачете, а ты вскакиваешь на ступеньку вагона и кричишь ей. Начали!...

Рифкат растерянно крутит головой и включает камеру, а вагоны ползут все быстрее. Я машу сыну рукой, он вскакивает на ступеньку и кричит Инге:

— Жди меня, Инга! Жди! Я вернусь! Инга, жди!

Я вам хочу сказать, друзья мои, все, абсолютно все повторилось, как уже было когда-то. Было состояние навсегда рвущегося, важного, ценного, чистого, одним словом, все получилось натурально и даже хорошо, что упрямый служивый затеял эту кутерьму с посадкой.

А Рифкат, уже развернув камеру на тележке, снимал идущую вслед за поездом рыдающую Ингу, и ее слезы-бусинки на крупном плане разрывали мое сердце.

Лишь мгновение длилась эта картина, боковым зрением я видел, как с подножки вагона прыгнули мой сын и актер в униформе, уже в следующее мгновение я услышал команду режиссера:

— Стоп! — и его вопросительное к Рифкату: — Было?

А еще через миг с лица Ирочки слетела боль расставания, и глаза ее вновь заиграли на солнце, точно ничего и не было.

Но все было для меня, на доли секунд отброшенного в прошлое, туда, где я видел прозрачные дрожащие капли в глазах любимой.

История тянется дальше. В стальные двери в высоком заборе группа входит, сподобившись прожженным зэкам, держа руки за спиной, не вздрагивая, не удивляясь, а принимаясь сразу за дело.

Сцена — в лагерном бараке старый арестант делает наколки молодому Единственному и вот мне привели нужного типажа. Все его тело было сплошь испещрено татуировками, причем это были стихи, и я принялся читать их вслух. Исполненные витиеватым шрифтом, лирические есенинские строки; в одном только четверостишии, к своему ужасу, я обнаружил десять грамматических ошибок.

— Ты жива ище мая старушка,
жив и я, привет тебе привет,
пусть струитца над тваей исбушкой,
тот виселый, нисказанный свет...

— Слушай, брат, — промолвил я, — здесь же куча ошибок, — во рту у меня пересохло от волнения и было трудно дышать.

Мысль о том, что человеку придется жить с этими ошибками на теле, приводила в трепет, и главное, что это были бесценные строки Есенина.

— Не обращай внимания. Что тебе эти ошибки? Вся моя жизнь сложилась, как одна огромная ошибка! Не сдирать же теперь шкуру! — отмахнулся старый зэк.

Но то, что приключилось через минуту, вновь повергло в шок и, спустя мгновение, вынудило смеяться так, что из глаз брызнули слезы.

Один из заключенных, полируя шахматную доску, спросил у другого, слышал ли он про Алишера Навои?

— Кажется, мы встречались на этапе... — таков был ответ.

ЖИВОЙ

Я долго искал актера на роль Юрки Живого, и в один из дней ассистентка привела мне голубоглазого паренька. Взгляд его излучал доброту, крупные надломленные губы выражали страдания и разочарования, выпавшие ему на долю. Именно таким был мой Юрка Живой, безумно любивший голубей, зарезавший на малолетке блатюка Узбека, унижавшего его достоинство, и собственноручно зашивший рот, в знак протеста бесчинству лагерной администрации, цыганской иглой. Таки-

ми я видел глаза Юрки Живого: синими, цвета бездонного неба и с застывшими в них от боли кусочками льда.

— Они должны быть цвета неба, в котором купаются его любимцы — сизари, вертуны, лохмоногие, бочкари, — так я объяснял ассистентам.

Нужны были голуби для съемок, а главное, белый красавец Васька, чтобы он из поднебесья камнем падал на Юрку Живого, и эту непосильную задачу я поручил Доттеру.

В яркий весенний день мы снимали этот эпизод, было шумно, весна магически действовала на группу, поднимая настроение, и мне казалось, что даже голуби — эти удивительные птицы, воркуют, радуясь.

В эпизодном кадре не оказалось актера — отца Юрки Живого, и я предложил сняться нашему осветителю, дяде Толе. В кадре вечно пьяный и шепотливый отец угрожает истребить всех птиц. Пока устанавливали свет, готовили актрису — мать Юрки, никто не заметил отсутствия дяди Толи, и когда наступило время снимать его план, из заднего двора, едва держась на ногах, выполз он, в дугу пьяный.

— Дядя Толя, ты где умудрился накушаться? — возмутился я.

— Вы сами сказали, что отец Юрки пьяный, ну я и немного того, чтобы было естественно...

Осветителя штормило, земля, точно палуба корабля, уходила у него из-под ног, и вся обалдевшая группа молча переглядывалась.

— Опять возишься со своими курицами, перебею к такой-то матери! — кричал он, зверея оттого, что снимаем четвертый дубль, но деваться было некуда, и в результате получилось неплохо.

Сделали все планы, напряжение отпускало, оставалось снять парящих голубей, и Доттеру предстояло выпустить их из клетки.

— Гляди, Серега, мы заплатили за них деньги, птицы должны отработать в кадре и ты за это несешь ответственность.

— Почему я?

— Потому что тебе было поручено найти ученых птиц...

Доттер выпустил голубей, они набрали высоту и вместо того, чтобы сделать нам фигуры, улетели вдаль, домой.

– Доттер, верни птиц в кадр, – кричала группа.

Длинный, худой, с треснутыми линзами очков, привязанными к ушам веревками вместо дужек, он метался по двору и кричал, выламывая руки, вздымая их вдогонку птицам:

– Они меня не слушают, я не могу их вернуть!

– При чем я? Кадр не получился, я не успел снять, – сдерживая хохот, говорил Рифкат.

– Но они же ждали... Все видели, птицы ждали, пока ты снимешь, потом улетели.

– Но им не было команды «Стоп», Серега.

– Рустам, это же голуби! – в отчаянии защищался Доттер.

– Они актеры, должны были сыграть. Ты нашел плохих актеров, – подначивал осветитель Дима.

– Короче, вычтем у тебя из зарплаты, – вынес я приговор.

Серега стоял, понурился, и вправду чувствуя себя виноватым.

ВСТРЕЧА С КАЙЛО

Вновь наша группа толпится у лагерного забора, расконвоированные эски с интересом поглядывают в сторону актеров, и слышно, как они, переговариваясь, бросают сквозь зубы:

– Кино приехало...

Наступил вечер, время режимной съемки. Над лагерным забором красиво догорал закат, и даже колючая проволока не портила вид, а наоборот, довершала картину. Было что-то от Сальвадора Дали. Вдоволь налюбовавшись видами и красотами, приступили к съемкам. Предстояло создать трагический эпизод: карманник Кайло и Единственный встретились после многолетней разлуки. Группа переместилась к небольшой бетонной будке, в ней и должны были произойти дальнейшие события. Я спросил у второго режиссера, готова ли группа контролеров, и получил ответ:

– Сыграют настоящие лагерные контролеры.

– На, хални чифира, братан, сюда менты не заходят, – обнадеживал Единственного Кайло, протягивая алюминиевую кружку и надрывно кашляя в кадре.

Единственный принимает из его рук посудину с драгоценным варевом и не успевает поднести ее ко рту, как раздается топот множества бегущих ног, в распахнутую дверь врываются контролеры.

Вбегание оператор снимал снаружи, на мониторе было видно лишь как они взмахивают резиновыми дубинками и слышались крики заключенных. На самом деле в чреве будки произошло настоящее избиение, и нам с актером Горшковым, игравшим Кайло, досталось под самую завязку. Двухметровые бугаи, а второй режиссер и подобрал их для фактуры, били со знанием дела, в оттяжку. Через перекрестье собранных в защите рук я заметил вылезавшие из орбит глаза Горшкова и чудовищное недоумение в них. Хотелось выругать дубаков трехэтажным матом, но писался живой звук и боязнь испортить дубль перехватила горло. Здоровенные вертухаи скрутили нас в бараний рог и поволокли к выходу. В стальную узкую коробку двери было невозможно протиснуться троим, и тогда разъяренные надзиратели рванули мое застрявшее тело изо всех сил. Пронзившая боль оказалась чудовищной, они чуть не сломали мне ключицу и не оторвали ухо, однако я не издал ни звука. Но когда мой герой на бетонном полу ШИЗО должен был издать мучительный звук, я застонал по-настоящему и проклял извергов в человеческом обличье.

ДРАКА ЕДИНСТВЕННОГО С ОТЦЕУБИЙЦЕЙ

Сашка Моисеев – борец, красавец, в футболке, облежавшей мощную грудь, с крутыми бицепсами, ударил первым и ждал, что я рухну в лужу.

В голове точно выключился рубильник, на глаза упала черная шторка темноты, и меня закачало, словно я был пьян.

Точно затворы винтовок, заклацали удары. Казалось, что в голову вколачивают стальные костыли и сквозь внезапно разорвавшуюся пелену я увидел лицо врага.

Оно было переполнено торжества, рот ехидно изогнулся, открывая ряды крупных сахарных резцов, и все мое нутро вос-

стало. Боль, злость, ярость воплотились в окаменевших кулаках, и я бросил руку точно в челюсть.

Я услышал хруст кости, но уже левая впечаталась в карающем апперкоте, а правая снова воткнулась в ненавистное красивое лицо. Из взорвавшихся хищных губ вылетела струйка алой крови и полетела в воздухе.

Но не тот он был боец, чтобы уступить, и в следующее мгновенье я получил в голову сметающий маваши.

Его другая нога подсекла меня снизу, и я все же рухнул в тужу.

Да! Весь залитый грязной водой, покачиваясь из стороны в сторону, поднялся и зарычал, подобно дикому зверю перед смертельным прыжком.

От удара обеими ногами, нанесенными ему в грудь, он некоторое время ловил почву под ногами, накренившись, точно Пизанская башня и, наконец, колени его подломились и красавец-борец обрушился. Вспенившаяся от массы двух извилистых тел лужа вышла из берегов и перелилась за край бордюров.

И ничего не было на свете для нас в тот миг, кроме измазанного грязью лица врага.

Бил он, бил я. То он оказывался сверху, то летел вниз, когда, наконец, мы оба с трудом поднялись на ноги и принялись злобно разглядывать друг друга. То была навсегда запечатлевшаяся в памяти грязевая битва.

Драки, драки! В них пролетела бесшабашная молодость, и теперь вспышкой-бусинкой они застыли в мозгу.

Бесчисленные взмахи кулаков, угасающие зрочки, кровь, сочившаяся на асфальт и восторженный рёв толпы.

Сколько раз я переступал через распростертые безжизненные тела и поднимал навстречу ей взор победителя!

Сколько их было? Больших, малых, вихревых, злобных, кровавых, где в ход шло все: от зубов до кастетов и ножей, где лопались, словно пустые тыквы, человеческие черепа, трещали сломанные ребра.

И не в жестокости, кровожадности былр дело, то шла пора утверждения, так во время любовных игр, ломая кустистые рога, бьются насмерть могучие олени, и, загоня врага на-смерть, позже рушатся сами бездыханными.

Прошло в казахской степи время великих батыров, когда сходились посреди желтой равнины два войска. Крутились, исхрапыная, под седоками нетерпеливые кони, роня тягучую пену, грызя бронзовые удила, и стыла горячая кровь в синих жилах от ужаса предстоящего.

Когда выезжал из плотных рядов самый бесстрашный, полный жажды отмстить за поруганные аулы, и вставал перед тьмой врагов один, готовый победить или умереть.

Прошли, канули в лете эпохи, а мне так хотелось жить в них, и возможно оттого я выходил в круг с поднятыми вверх кулаками.

Возможно поэтому я описал в романе сцену, где моего избитого надзирателями героя приволокли и бросили в одну камеру с отцеубийцей.

Эту сцену снимали дважды. В первый раз с худеньким парнишкой она не получилась, и тогда ассистент привела здорового мордovorота. Быть может, он хороший парень в жизни, но то ли его манеры и поведение убедили меня в том, что он мог бы быть отцеубийцей, то ли опять сработала пресловутая теория Ломброзо.

Да простит меня господь за предрекание такой страшной судьбы малознакомому человеку! Однако мы стали репетировать, и, к моему удивлению, его абсолютно не смущала роль.

— Ты представляешь, «десятку» как с куста! Я ему говорю, дай денег, а он, старый хрыч, не дам, не дам! Дал бы денег, был бы жив, да и я здесь бы не парился...

— Так ты за что сидишь? — спросил Единственный, утирая кровь с рассеченного лба.

— За пахана! Любовница говорит: убей, убей его, все добро нашим будет.

— И ты убил?

— Прямо из двух стволов жажнул...

Да, так бывает в жизни, и случай с отцеубийцей я взял из реальной жизни.

С десяти лет оставшийся без отца, которого любил и боготворил, я был жутко поражен цинизмом отцеубийцы, убившего из-за денег. А теперь в кадре этот монолог мне произносил человек с лицом злодея, и я, преодолевая боль в ключице, удалил его в мощную грудь.

— Сука! — я бросал кулак от лица героя-сироты, с такой же, как и у меня, судьбиной, и который в одно мгновение возненавидел эту «нелюдь». Мы рвали друг друга зубами, рычали и катались по полу, до тех пор, пока в распахнувшуюся дверь не ворвались надзиратели.

Шквал дубинок обрушился на голову Единственного, и палач по кличке Ирод отдал приказ:

— В «стакан» его!

ВСТРЕЧА СО СТАРЫМ ТУЗОМ

В углу камеры, расположившись на брошенных телогрейках, пообедали старый вор Туз и Единственный. Доттер в очередной раз устроил мне «подлянку». Он наложил в «шлюмку» какую-то жуткую кашу из одному ему известного состава и с убежденным видом приговаривал:

— Вам трудно будет изобразить брезгливость и лучше, если в миске будет настоящая бурда.

Хотелось послать его к такой-то матери, но примитивная логика в его словах присутствовала и, поколебавшись, я решил принести эту жертву.

Актер из «Современника» Острин, игравший старого Туза, боковым зрением заглянув внутрь, отодвинул чашку в сторону. Мне же ничего не оставалось, как набрать полное «весло» и отправить в рот. Два человека, отвергающих баланду в камере изолятора, могли насторожить зрителя.

Эта роковая для моего героя встреча с Тузом повела его по лабиринтам воспоминаний жизненных дорог законника, и ему довелось узнать о побеге из лагеря, о сыне Яше — Тюрьме, ставшего тоже вором в законе.

— Бежали мы, значит, из лагеря, со мной был азиат один и его бывший командир. Тот, глупый, верил, что Сталин не знает, что творится в зонах, и хотел дойти, чтобы рассказать. Да сковырнулся в пути. А мы с азиатом попали в засаду красноперым, хотели нам калганы отрезать, как доказательство, да где уж им, самих мертвяками оставили... — рассказывал Туз, — а я, я до белокаменной добрался, ох и встречали меня воры! Вся

малина гудела! Домушники, карманники, медвежатники понаехали, подарков понавезли, одели точно прынца, у – м – м – м! – он блаженно поджимал губы.

В череде многочисленных планов мне понравился эпизод, где старый Туз, рассказывая Единственному о прежних нравах, бытовавших в зонах, вдруг запекает разудалую песенку и, поднявшись с места, начинает выбивать чечетку.

— ...И полюбишь ты девчонку,
будешь с нею жить,
воровать для риска будешь,
жить – так не тужить!...

Замечательный актер Острин играл потрясающе, наблюдая за ним, хлопая в ладоши, я внутренне ликовал, что не ошибся в выборе, и тому, что посчастливилось работать в кадре с настоящим мэтром. Наверное, в этом и заключается актерское счастье.

СВЕТЛАНА ПЕРВАЯ

Отступая назад, я расскажу вам, что дальше все пошло наперекосяк. Не были подготовлены объекты для съемок и мы взялись снимать то, что было готово.

Бешеное течение, словно щепку в водовороте событий, несло Единственного.

В него, перевязанного окровавленными бинтами, лежащего после операции на тюремной койке, влюбляется офицер медицинской службы – красивая Светлана.

На ее роль была предложена девушка с интересным лицом.

Каждый наш день пребывания в зоне приносил новые комедийные истории, и над одной из них мы еще долго смеялись.

В камере ШИЗО снималась мизансцена: Светлана, узнав, что ее любимому человеку отменили расстрел, приходит к нему на свидание, и ненавидящий форму палачей герой набрасывается на нее. Он срывает погоны, рвет на ней рубашку, юбку, обнажая белую грудь, мраморные ноги, и бросает ее на «нару».

Наша актриса без конца манерно подкрашивала губы, брезгливо оглядывала «шконку», на которую я должен был ее кинуть и, морщина вздернутый носик, влажной салфеткой терла ее.

Команда: НАЧАЛИ! Она играет вяло, я набрасываюсь, рву одежду, обнажаю ей перси, вскидываю на руки, но она оказывается невероятно тяжелой; оступаюсь и.... сильно бью ее головой об угол, да так, что от бетонной стены идет гул. Актриса теряет сознание, я в растерянности бросаю взгляд на камеру, оператор машет: «Продолжай!», и я на холодной наре срываю с нее юбку.

— Стоп! — кричит постановщик, и вся группа падает от смеха, а актриса все еще лежит без сознания. Мы стучали ей по щекам, поливали водой, чтобы привести в сознание.

— Срок Вам за попытку изнасилования, — кричала группа, — все видели, столько свидетелей!

— Ха — ха — ха — ха — ха! — ребята держались за животы, — правильно, головой об бетон и в постель!

Мы сделали весь кусок этой эпопеи Единственного, я чувствовал, что сняли полную туфту и все же никак не мог отвалиться на пересъемку.

СМЕРТЬ СТАРОГО ТУЗА

Время, отведенное нам для работы в колонии, заканчивалось, и узники смеялись над нашими переживаниями:

— Нам бы быстрее освободиться, а вы наоборот, хотите задержаться в лагере!

Тем временем приступили к съемке большого куска, в котором погибает старый вор Туз. Все ладилось в совместной работе с Остриным, и лишь проблема с пересъемкой висела дамокловым мечом.

Сердце законника после удалой чечетки в прогулочном дворе заклинило, и теперь он лежал на «фуфане» в темной камере изолятора, выгибаясь в предсмертных судорогах. Единственный, склонившись над его изголовьем, выслушивал напутственные слова вора, произносимые как завещание, и был суров, полон решимости понести воровское знамя. Жалгыз бил в стальную дверь, призывая «ментов»; вломившиеся надзиратели бросились на него с дубинками, и тогда озверевший Единственный, вырвав штык-нож, стал шинковать их, точно «ка-

пусту»; «вертухай» стреляет в обезумевшего арестанта и принявший в себя три пули Единственный валится на бездыханное тело старого законника.

Вот такую в многострадальной лагерной судьбе героя мизансцену мы отсняли в камере ПКТ, и дальше была операционная, где прямо в кадре, под бряканье инструментов, шепот персонала, жужжанье камеры я мирно уснул.

СВЕТЛАНА ВТОРАЯ

Все было весело, об ушедшей актрисе я не жалел, и наоборот, тешился, что все разрешилось, но стал вопрос: кого переснимать в роли Светланы? Нужна была актриса!

И ее нам удалось найти. Героиня Светлана – великая женщина, способная, подобно «декабристке», идти на самопожертвование!

Стали переснимать, работалось весело, Рифкат с упоением говорил, что объектив сам идет за актрисой, и я чувствовал, как стало легко работать с настоящим профессионалом.

Распластанный Единственный лежал на глянцевом кафельном полу, как вдруг веки его дрогнули, открылись, он слабой рукой нащупал «тумар» на шее и, подтянув его к губам, потерял сознание.

Когда я увидел свое отражение в луже крови, то мне по-человечески стало жалко Единственного, моего несчастного персонажа, по отношению к которому я оказался столь жесток, как автор.

– Немедленно в операционную! – отдала приказ новая Светлана, и я понял, дальше все пойдет как надо. Самоотверженная борьба честного медика вернет его к жизни.

Две одиноких души, забыв обо всем на свете, тянутся навстречу друг к другу, и лишь вовремя прозревший Единственный останавливает красивую женщину от шага в пропасть. Но он уже любит, уже перед его взором днем и ночью стоит она. Уже слух его ловит каждый шорох за стальной дверью, пытаюсь различить невесомые, легчайшие шаги и оживающее тело, а руки помнят теплоту ласковых пальцев.

Уже непослушные пальцы гладят суконное одеяло, на том месте, где лежали ее руки и отвыкший говорить нежности язык произносит сладчайшие фразы.

Уже память воспроизводит чувственные интонации ее голоса и укоризну в больших выразительных глазах.

Все же ему удалось отвергнуть зародившуюся будто чудо любовь, расцветшей подобно дивному цветку, лишенному света и тепла, в непередаваемых условиях человеческой жестокости.

Но как сыграть это, отразить меж неизгладимых складок лица первые ростки зарождавшегося чувства, когда из тьмы, над обритой головой героя выступило отсвечивающее синевой жало меча и жизнь повела обратный счет?

И вот тут стало ясно, что исключительный выбор актрисы, ее мастерская игра начинает потряхивать всего тебя, и тогда ты растворяешься во внутреннем мире своего персонажа.

ПРИХОД КАЗАНЦА

По сценарию в один из тягостных дней, когда раны Единственного стали зарубцовываться, и он уже слабо передвигался по камере, в отворившуюся дверь вошли двое. Позади убеленного сединой мужчины, с пронзительным взглядом внимательно разглядывавшего Жалгыза, возвышался гигант-телохранитель. Это к Единственному пришел вор в законе Казанец.

И вот на роль Казанца я пригласил старого театрального актера.

Он играл так же, как на сцене, и выдерживал те же условности. А в кино так играть нельзя и очевидность этого пропустила, как только мы просмотрели материал.

Я занялся поиском актера для пересъемок и наткнулся на Креженчукова. Этот человек мгновенно принялся искать себя в образе законника и в непосредственной ему линии поведения. Теперь нам удалось создать игру. На мониторе возник усталый человек с грустным взглядом, немало повидавший на своем веку.

Это была важная сцена, предопределившая дальнейшую судьбу Единственного.

В романе и картине вор в законе Казанец сообщает Жалгызу о том, что воры сделают все, чтобы спасти его от «вышки».

Мы сняли всего три дубля эпизода и остались довольны результатом.

В крохотной камере трудно было работать вследствие зажатости и тесноты. Но все же небольшая динамика в мизансцене появилась. Внутрикадровая, создаваемая за счет изменения крупностей в передвижении героя в кадре.

СУД

Над зоной висела продолговатая, точно бухарская дыня, луна, и была душная ночь, противно квакал лагерный «квакун», там и тут у длинных барачков, сидя на корточках, курили арестанты, в темноте краснели огоньки их сигарет.

Нам оставалось отснять сцену суда над Единственным и завершить тюремную одиссею героя.

По-человечески трогательная судьба Жалгыза все больше приобретала экранную, и я чувствовал, как группа проникается состраданием к его биографии.

Так несет щепку по стремительной черной стремнине, засасывая в гибельную пучину, и этот поворот в его грустной киноистории, казалось бы, должен поставить точку.

И вот мы снимаем суд, намереваясь приговорить нашего героя к самой высшей мере и заставить испытать чашу горести до самого дна.

Я чувствовал себя палачом, безжалостным и бессердечным вершителем. Собственноручно написавший сценарий, я был подлинным виновником несчастий Жалгыза и осознание этого раскаленными спицами вонзалось в сердце, заставляя его коржиться. Эти сомнения, подобно лопастям бетономешалки, ворочаются внутри меня и сегодня, взывая к великому милосердию в собственных произведениях. Теперь, спустя годы с момента написания романа, сценария, каждой своей клеточкой я ощутил ответственность за литературную и экранную судьбу героя.

Но была ночь, в лагерном клубе за решеткой, без конца разваливавшейся и грозившей рухнуть в кадре, сидел я, ругая Доттера. На роли судей не хватало двух актеров, решили переодеть гримера Светлану Федоровну, и на третьего судью — одного из заключенных. Молоденький паренек отбивался, с трудом удалось его убедить и заставить надеть офицерский китель.

Итак, время за полночь, массовка в зале уже спит, мы снимаем план судей и вдруг замечаем, что на судье-зэке синие лагерные штаны.

— Стоп! — кричит Рустам, оператор не поймет, в чем дело, и вопросительно хлопает глазами.

— Он в зоновских штанах! — объясняет ему Рустам.

— А в каких надо? — спрашивает сонный Рифкат.

— В военных!

— Как зэк может быть в военных штанах? — никак не может взять в толк оператор.

Но вот эпизод переснят, разбудили массовку, Риф снимает панораму заключенных, и судья, чеканя слова, зачитывает приговор:

— Приговорить к исключительной мере наказания — расстрелу!

Рустам жестикулирует Рифкату перейти на крупный план Единственного, я замечаю полный сумятицы взгляд актрисы — Светланы, и тонко чувствуя состояние своего героя, шепчу:

— О, аллах! Дай мне силы выстоять!

Обрекая Жалгыза на эти муки, я обязан был выстрадать его жгучую боль, иначе потом не смог бы жить.

— Я буду молиться за тебя, брат, — вскричал в жутком отчаянии актер Горшков, игравший Кайло. Все во мне перевернулось, ибо на мгновенье я забыл про кино и пожалел его, проникшегося состраданием к Единственному. Секрет этот в единении актерской души с экранной судьбой героя!

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ — ПИСЬМА ЛАТВИНЫ

Эхом продолжали звучать слова безжалостного приговора в камере смертников, в душном «продоле» тюрьмы на улице Сейфуллина, куда невероятными трудами нам удалось про-

биться и где мы начали спешно работать, в страхе, что начальство, передумав, выгонит нас «на свободу».

В тесной как клетка прогулочной камере за толстенной решеткой метался наш герой в мрачных раздумьях и осознании того, что стрелки часов жизни теперь, когда он полюбил, крутятся в обратную сторону.

Расстрел! Расстрел! Расстрел! После прогулки лязгает «кормушка» и на бетонный пол, кружась, точно одинокий листочек, оторванный от дерева, ложится цветная фотография. На ней красивая цыганочка Латвина, дочь цыганского барона, создавшая себе по тюремным, обросшим легендами историям, его мученический образ и влюбившаяся в него.

Долго, в тусклом свете лучей, разбивающихся о стальные прутья, рассматривает Единственный изображение прекрасной цыганочки, пытаюсь проникнуть в темный лабиринт мира женщины. Он читает вслух строки, написанные в порыве откровения, какое может происходить лишь в неволе.

— Здравствуй, мой Единственный! — крупный почерк цыганочки, казалось, отражал состояние ее души. — Посылаю тебе ее взамен той, что отняли у тебя «менты» во время шмона и верю, что нам с тобой обязательно удастся встретиться, потому что я тебя люблю, верю, что наше чувство станет взаимным, несмотря на стены, разделяющие нас.

Единственный, полный глубоких дум, расхаживает по тесной камере, пять шагов к решетке, пять к двери и, наконец, решившись, садится писать:

— Латвина, девочка моя! Спасибо тебе за твои письма, они подобно лучикам света проникают в мою камеру и освещают ее. Но! Моя жизнь спета, вся она отчего-то сложилась как в стихах Некрасова — «Этот стон у нас песней зовется»...

Ты молода и красива, впереди тебя ждет большое счастье, и ты еще встретишь, полюбишь, а моя жизнь обречена, я живу в ожидании, когда распахнется дверь, и меня уведут, как скот на заклание...

Странная всё же эта штука — жизнь; неисповедимые дороги ее, петляя, настойчиво вели меня к казенному дому, заставляя ужасаться и гадать: рокли это, судьбали, или такая жестокая игра?

Она бросала меня из огня в полымя, сводила с поразительными, необыкновенными людьми и ввергала в невероятные истории.

Там мне писала удивительные, романтические и любовные записки прекрасная цыганочка Зара. Дочь барона сидела в женском корпусе, на первом этаже, и наслышанная обо мне со свободы, она однажды написала мне. Ее письмо было наполнено стыдливой откровенности, звенящей боли из-за тающей в мрачных стенах прекрасной красоты и жуткой неизвестности предстоявшего.

Я вскрыл зацелофаненную ракетку, высыпав в кружку чай, присланный мне ею, и к изумлению обнаружил, что «усатый» запакован в ее свернутую трубкой фотографию.

Огромные жгучие глаза, обрамленные длинными, острыми стрелами ресниц, глядели открыто, слегка насмешливо и дерзко. Так завязалась наша любовь, длившаяся полгода, но в неволе время спрессовано, и оттого мне кажется, что она тянулась дольше.

Ее письма-голубки, вытолкнутые за «решку» утром, по веревочным «коням» цепляясь за острые выступы кирпичей, грани «баянов», карабкались из «хаты» в «хату», рискуя быть сорванными безжалостным крюком «конокрада», и добирались ко мне к концу дня.

О чем только мы не говорили в них. Философствовали над смыслом жизни, ругали, корили себя, строили планы на будущее и, конечно же, много писали о любви.

Я посылал ей раздобытые чудом шоколадные конфеты, она мне сигареты, чай и перебивающий затхлость камеры запах жасмина со страниц писем.

Однажды глубокой ночью дюжие надзиратели вывели меня, и повели по отдающим глухим эхом коридорам.

Со сбегавшими по плечам струями черных волос и ожиданием чуда в глазах в «боксике» сидела Зара. Потом были скорые объятия, сахарные поцелуи, таявшие на губах, неистовые жадные ласки, её гибкое тело на стальных полосках шконки и слёзы, хлынувшие под утро под противный рев «квакуна».

— Меня увозят, я боялась тебе сказать, лишь обмолвилась, что черемуху в цвету не скоро доведется мять. Да, любимый мой, десять лет, червонец! Цыгане любят золото червонное, из

царских червонцев сделано мое любимое монисто. Вот и дали червонец! Сегодня уводят на этап, в зону, в Чемолган.

Я пил коньяк, он заглушал резь в сердце; я пил дорогой грузинский коньяк и тупо гладил ее холодные ладошки.

Мысли, бесконечно роившиеся в шумевшей голове, куда-то исчезли, было зябко, одиноко и жалко, отчего-то не её, а себя.

Но все переплелось: жизнь, роман, кино.

С Латвиной мой герой встретится после отмены ему приговора, эту сцену мы отсняли, переодев в китель прокурора-зэка из «хозбанды», и только киношная встреча, как и должно быть в кино, выглядела романтичней, потому что в реальной жизни все происходит банальней.

Наша Латвина, которую открыл Рустам, будет заразительно смеяться, сверкая мраморными зубками, будет «стрелять» шампанское, будет ее признание, речь Единственного с просьбой стать ей ему названной сестренкой, и танец, обворожительно красивый вальс в кабинете начальника тюрьмы.

Затем Юрка Живой, вновь встретившийся на арестантском пути Жалгыз, проводит его на встречу со Светланой, и вот над созданием этой встречи я мучительно раздумывал в поиске красивой мизансцены.

Наконец, меня словно озарило, я увидел своего героя вошедшим в камеру, где его ожидает Светлана — великая женщина, и реакция человека, умеющего по-настоящему любить, ценить добро!

Он должен стать на колени и поцеловать ей руку! Произнести слова: — Ты самая святая из всех женщин!

Да! Да! Да! Только так мог поступить мой благородный Единственный!

Мы отсняли эту сцену под утро, уставшая, вымотанная бессонной ночью актриса — Светлана сидела кротко в углу комнаты, на улице шел проливной ливень, слышались шаги марширующих заключенных, и неожиданно открылась дверь, вошел Единственный...

Увидев ее, он вздрогнул: что пронеслось в голове героя, восемь долгих месяцев ежедневно ожидавшего исполнения приговора? Он прошел к ней и опустился на колени:

— Ты самая святая из всех женщин! — сказал он и поцеловал ее руку.

* * *

Ассистент оператора Аскар тайно передавал узникам в ШИЗО чай, сигареты, и второй осветитель — бывший зэк по кличке Копченый, сидя на корточках, вел с лагерниками беседы про жизнь.

Из тщательно проверенного солдатами автобуса вывалился пьяный вдребезги осветитель Дима, ругая охрану.

«Кум» Леонидыч, сопровождая группу в зоновскую столовую, хватался за сердце и проклинал судьбу, пославшую на его майорскую голову нас.

На длинных столах в ряд выстроились алюминиевые шлюмки, в бурой жидкости плавали рыбы позвоночниками, и весело залетевшая в предвкушении обеда группа долго разглядывала содержимое. Однако, как известно, голод — не тетка, и вскоре я с удивлением наблюдал картину, что и актеры оживленно работают почерневшими алюминиевыми ложками. Новые открытия ожидали на каждом шагу: мужика с суровым и жестким лицом я попросил сыграть авторитета, но он наотрез отказался, аргументируя тем, что после кино его убьют.

— Я по лагерю «козел», — сказал он.

— «Козлы» у нас тоже есть, сыграешь, — настаивал я, больно хороша была фактура мужика.

— «Козла сыграю», — согласился лагерный «козел», поражая меня, и я задумался, то ли он безумно любит кино, либо быть «козлом» на экране ему так же естественно, как в зоновской жизни.

Изоляторные штрафники просили меня уговорить начальство и дать им возможность сыграть.

— Уже третий месяц под замком сидим, — жаловались они, и я добился их выхода.

Снимали длинные сцены в камере, уже наступила ночь, зэки устали, измучались и стали ворчать.

— Вы же сами напросились, — возразил я.

— Мы-то думали, что кино делается иначе, отпустите нас в камеру, лучше под замком на нарах, чем такой лошадиный труд.

— Ну уж нет, вы уже заявили в кадре, теперь до конца... — я был возмущен.

В автобусе ассистентка Галка напевала: «Собака лаяла на дядю-фраера!», и вся группа, даже культурный звуковик изъяснялись между собой по фене.

— А где все бухалово...

— Молодому куму, говорю, шнырь нужен...

— Я их прямо со съема привела...

— Шмонают, псы...

— У них так не канают...

— Товарищ начальник, откройте нашу комнату, — кричал Рустам контролерам ШИЗО, имея в виду камеру.

Парни с группы втолковывали ему, что камера называется «хатой».

— Рустам-ака, ну сколько Вам говорить, не комната, а «хата», а там, где мы теперь снимаем, это называется «трюм», прямо неудобно за Вас...

Но он мгновенно забывал и вновь называл шконку кроваткой, шлюмку — тарелочкой.

ТОЛЯН

Его голову уже посеребрил иней прожитых в неволе лет, сплошь испещренное синими наколками тело говорило за себя, веселый рот, полный червонных зубов, подчеркивал особый лагерный статус, и общение с ним, как с человеком, немало повидавшим, доставило мне истинное удовольствие.

Толян был корифеем трудной зонавской науки, знания жестоких неписаных законов приравнивались к профессорским, и при этом он оставался доступным человеком. Между долгими приготовлениями к съемкам и установками света Толян рассказал свою историю, повергшую меня в шок.

В четырнадцать лет он загремел на скамью подсудимых и ехал в малолетку с песней:

А как в семье прокурора, безусловно и вольно,
расцветала как роза, с золотою косой,
дочь по имени Нина, как отец горделива,
как отец горделива и красива собой!

Вот однажды на танцах, на веселых и быстрых,

к ней шикарно одетый подошел паренек,
с виду явный красавец, сам с преступного мира,
подошел и на танец эту Нину увлек!

Отсидев первый срок за грабеж, вышел веселый, злой, презирая страх, и хотел от жизни любви, денег, разудалой жизни. Пришло все, рисковому фарт: несколько удачных краж и появились «хрусты», доступные девицы, а за ними милиция. Новый срок ожесточил, Толян восстал против режима, насаждаемого администрацией, и стал бессменным узником каменных мешков. Пока боролся с оперчастью, на воле умерла мать, в барачной разборке погиб младшой, и Толян затосковал. Долгожданный звонок прозвенел, когда Толяну исполнилось уже тридцать, и надо было определяться с дальнейшей жизнью. Толян пошел работать, был классным токарем, понемногу оставшаяся от матери квартирка стала наполняться теплом и все, наверное, забылось бы, поистерлось, не встретить он на пути красивую Тоню.

Точно злая колдунья, опоила она Толяна зельем, вошла в самое его сердце, тащила в шумные рестораны, веселилась на Толяновы деньги и завела в омут, из которого он вновь прямехонько очутился на истертой скамье подсудимых.

Довели развеселые кабаки Толяна до новых краж, «ломанул» он склад пушнины, скинул товар «барыгам», загулял молодец, понесло его по ухабам и в пьяном угаре застал Тоню с соседом — «ментом».

— Вот чего ей, суке, не хватало, я ее словно королеву в меха разодел, шампанским поил, в Сочи возил, и после всего этого она мусору подвернула!

— Дали мне за ее любовника с барской руки пятнадцать, и пять высылки, вот досиживаю, осталось чуть-чуть.

— А что ты сделал с ним?

— С ними.

— Как...? Обоих...?

— А что мне им, памятник надо было поставить? Я ее очень любил, помешан был, мог и простить, если бы он не «мусор» был. Любого бы простил, бухгалтера, шофера, черта лысого, а «мусора» не смог, точно самого меня он поимел, и как они были вместе, так я их...

— Ах, лагеря, лагеря, заждались вы меня,
я на воле девчонку любил,
для нее воровал, всю в меха одевал,
а потом королеву убил!

Толян прихлебывал чифирик, затягивался дешевой сигаретой, глаза его были подернуты дымкой воспоминаний. С груди арстанта на меня взирал с укоризной синий лик Христа, и было стыдно за то, что разбередил его незажившие раны.

Толян снялся у нас, в короткие минуты общения угощал меня пряниками, и навсегда запечатлелся в памяти человеком, согнувшимся под тяжестью своего непосильного креста.

«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»

Дни стремительно летели, мы не укладывались в циркулярные сроки министерства, и работали, не зная устали.

Темной ночью, когда в небе вспухли крупные звезды, заглядывая в ШИЗО, мы заканчивали сцену, где Единственного встречают в новой зоне, и за столом собрались лагерные авторитеты.

— Авторитетов смогут сыграть лишь авторитеты, — аргументировал я Леонидычу, и он, играя желваками, все же прислал их нам.

Явился чеченец с перебитыми руками, упросивший друга перебить их ломом, чтобы не работать, и друг не отказал в просьбе.

Пришел атлетически сложенный бывший спортсмен и «рэкетир», улыбчивый, еще не сложенный зоной.

Закатился наголоватый пожилой зэк с воровскими звездами на плечах, блатной и бесшабашный, со словами:

— Впервые наш статус пригодился «куму», в другое время из «трюма» не выпускает и хочет сравнить с «козлами», а как сыграем щас за всю «братву терпигорскую»!

Вошел симпатичный курд с плавающей грустью в зрачках и тоской по нескорой, далекой воле.

Смиренно появился молодой исхудалый парень с большими ясными глазами, с наколкой на груди там, где сердце, и как выяснилось позже, оказался лагерным батюшкой.

Последним заявился еще юный, а уже весь седой, худенький паренек, и он, стесняясь нас, без конца закрывал ладонью провал беззубого рта.

— Тагир, как же ты, пусторотый, будешь сниматься?

— Искусство требует жертв, — отвечал он на язвительные шутки, не желая оставаться в долгу и выказывая готовность к полемике.

На столе при помощи волшебника Доттера возникли яблоки, груши, колбаса, пачки «Мальборо» и в это время погас свет. Пока мы бегали выяснять, прошло не менее часа, и вернувшись в камеру, мы застали наших авторитетов, мирно спящих на нарах. Весь игровой реквизит был съеден и находчивый Серега создал новую композицию из соленых огурцов, черного хлеба, пачек «Беломора». Зато затосковала семиструнка, в кружку потянулся темный «чифир», всхлипнула гармонь и полилась жалобная песня о вольных птицах, улетающих в дальние края.

В кадре Тагир обнимал меня за плечи и говорил с придыханьем:

— Столько лет не виделись, Единственный, воистину наш миртесен!

Грустный курд отхлебнул варева и произнес:

— Я рад тебя видеть, братан!

Атлет улыбнулся добро, что невольно подумалось хорошее, я взял прокопченную кружку, хлебнул и передал дальше по кругу.

Батюшка отдал допотопную посудинку сидящему на наре бесшабашному со звездами и рванул заветные струны. Он играл переборами, взгляд его был туманен и задумчив, а «блатюк» заботливо, точно мать, поил чечена со сломанными руками из кружки. Было так грустно, стонала гармонь, душу выкручивала шестиструнка, звонкий голос скорбел о птицах и «блатюк», забывая беломорину, приговаривал:

— Впервые за все срока, не прячься, «мастырю косяк»! — и выкрикивал отчаянно:

-- Артист, сделай для братана «нашенскую»!

Воистину происходила «Тайная вечеря» фламандского художника, как позже выразится оператор Риф, и это будет трогательной правдой.

Все было по-настоящему: «авторитеты» играли «авторитетов», «козлы» — «козлов», «дубаки» — «дубаков», и в середине были мы, жаждавшие кино.

ВСТРЕЧА С ЯШЕЙ ТЮРЬМОЙ

Сактером на роль Якова мне не везло, я пригласил из Москвы Гуськова, отлично сыгравшего в телевизионном фильме «Таежный роман», но он сказал мне:

— Я больше не буду играть бандитов, у меня растут два сына, и я не хочу, чтобы они плохо обо мне подумали.

И тогда я предложил ее молодому актеру из Пушкинского театра. Сухов прилетел в день съемок и его из аэропорта доставили прямо на площадку. Когда он вышел из автомобиля, меня бросила в дрожь его прическа; длинная косичка, схваченная у затылка, развевалась на ветру и разрушала весь образ.

Такого, с косичкой, я видел в Омской гостинице для «голубых». А дело было так! Мы с моим другом Юрой, толстым, с огненно-рыжей бородой, мужиком, поздней ночью въехали в город Омск. Нас встретил мой омский приятель, и взялся устраивать в гостиницу. В двух, куда мы заехали, мест не оказалось. Мы были жутко уставшие и просто валялись с ног. И тут Омского друга внезапно осенило: — Стоп! Мы же в двух шагах от одной гостиницы, но только она стремная!

— В каком смысле? — спросил я.

— Там сдают «голубым» почасовую.

— Ну а что теперь, на улице, что ли, ночевать? Какая нам разница, давай до утра... а утром съедем, — решил я. Мой бородатый друг согласился, и я пошел договариваться.

В уютном кабинете сидела раскрашенная дама.

— Ночных гостей принимаете? — спросил я.

— Вы с мужчиной...? — и понимая, что спросила об интимном, жеманно-стыдливо опустила приклеенные ресницы книзу.

— Да, с женщиной! — ляпнул я, и только после въехал в суть ее вопроса, но было поздно, да и как назвать моего бородатого друга Юру — не женщиной же.

И тут с сумками в руках вошел он. Расфуфыренная дама с головы до ног окинула Юру оценивающим взглядом и многозначительно хмыкнула. Видно, поразились моему вкусу! Мой друг Юра ей не понравился!

Я едва-едва сдерживал смех, но принял от нее ключ, и мы прошагали в номер.

Как только дверь закрылась, я стал безудержно хохотать, да так, что катался по полу. Юра хлопал глазами и глядел на меня, словно на умалишенного.

— Ты, ты, ты ей не понравился, ха — ха — ха — ха — ха, ха — ха — ха — ха — ха!

Мой хохот был истеричен, и оттого до боли свело судорогой живот.

— Почему ты так решил? — возмутился Юра.

— Ей не понравилась твоя ры — жа — я бо — ро — да! Она так смотрела нам вслед, что у меня спина задымилась.

В номере стояла широкая двуспальная кровать, и я принялся разбирать постель.

— Вот твоя половина и, не вздумай ночью закатиться ко мне, — я никак не мог взять себя в руки и остановить хохот.

— Да когда мы утром выйдем в коридор, все равно никто не поверит, что между нами ничего не было, — нагло изрек Юра, и я в шоке от этой простой истины принялся ржать еще сильнее.

— Ха — ха — ха — ха — ха — ха, ха — ха — ха — ха — ха!

Тут Юра разделся и направился в душ.

— Мойся хорошенько, — выкрикнул я сквозь слезы.

— Дурак! — резюмировал Юра.

Утром, когда мы отоспавшиеся, с довольными физиономиями вышли в коридор, взгляд дамы невозможно было описать, это надо было видеть, друзья мои! Ее масляный взор точно говорил: «Ну вот, я помогла вам провести эту ночь!»

Мы спускались по лестнице, а вслед нам с явным интересом глядел молодой «голубой», с косичкой на затылке.

На улице я оторвался на целых полчаса!

Вернемся же, однако, к актеру Сухову. И так, времени было в обрез, я усадил его в автомобиль и помчался в салон. В холле мы с Рустамом быстренько пролистали журнал и, наткнувшись на интересную прическу, усадили актера в кресло.

Я сказал девушке-мастеру:

— Мне он нужен вот такой, спустя час я вернусь за ним...

Когда мы явились, то нашему взору предстал сытый, гладкий молодой человек, из которого можно было лепить образ вора в законе, этакого «апельсина».

На площадке все было готово к съемкам, но неожиданно обнаружилось, что у Сухова нет гражданского костюма, он прилетел в рубашке, и тогда я пожертвовал ему сверхдорогой клубный пиджак. Андрей примерил, он оказался ему впору и мы решили, что он снимется в нем.

— Пиджак — мой личный, будь, пожалуйста, аккуратней с ним, — попросил я его.

Эпизод был довольно мирный, сцена первого знакомства Единственного и Якова.

В кадре Единственный рассказал Якову о последних мгновениях жизни старого Туза; они помянули ушедшего в мир иной дорогим «Хеннесси», вместо которого Доттер налил горячий чай; Яков — Сухов чуть не ошпарил себе рот, а затем выплунутый чай смахнул рукавом моего девятьсотдолларового пиджака, и как ни в чем ни бывало предложил Единственному бежать из лагеря.

— С тобой в побег пойдет Кайло, — раскрыл он тайну.

— Откуда ты его знаешь? — выдавил я свою реплику, напряженно продолжая следить за движениями рукава.

— Воры знают все, когда им это надо. На днях его привезут в эту зону, — добавил Яков, дотирая со стола чай.

И тут моему терпению пришел конец, забыв, что мы в кадре, я вскричал: — Ты с ума сошел, что творишь? — Вся группа каталась от смеха.

Впереди предстоял эпизод знакомства Единственного с криминальным банкиром по кличке Паук.

Надо сказать, что работа с Суховым нравилась мне все больше, и, спустя время, я был уверен, что мой выбор оказался правильным.

Снимали в роскошном кабинете президента банка, неунывающий осветитель Дима устроился в высоком, похожем на трон, кресле, и с улыбкой на лице вопрошал:

— Ну как я вам банкир? — он брал тисненную золоченым логотипом папку и, раскрывая, приговаривал: — Так, сколько тут у меня миллионов осталось?

— Смотри, как бы тебе плохо не стало от этих миллионов! — кричала костюмер Ира, его супруга.

— Да! Жили мы бедно, а потом нас обокрали! — смеялся Дима.

* * *

Находкой для работы группы стала учебная зона; тут располагалась часть внутренних войск, и на ее территории мы решили доработать сцены побега.

К учебному вагон-заку офицеры нагнали вооруженных солдат с собаками. В вагоне оказалось всего лишь одно купе для заключенных, деваться было некуда, и мы решили снять в нем короткий план. Он нужен был для того, чтобы дать адрес месту событий, и в нем прибывшего этапом Кайло молодые сокамерники расспрашивают:

— Правда, что Единственный в этой зоне?

Но оказалось, что нет людей на роли заключенных. Долго не раздумывая, я решил переодеть ассистента оператора и «звукача». Не хватало еще одного человека, я предложил сыграть Рифкату.

У группы зрочки повывлазили из орбит от изумления и подобно ноу-хау в кино, чтобы оператора сажать в кадр.

— А кто будет снимать? — удивился Рифкат.

— Ты настроишь камеру на статичный план, а Рустам снимет, — предложил я.

— Я сниму, ты не переживай! — заверил Рустам

Неожиданно эта идея понравилась самому Рифу, видно, актерские лавры не дают покоя даже оператору, и он решительно поддержал меня, решив создать образ худенького экаочкарика.

И вот уже рядом с Кайло в черных робах заключенных сидят: ассистент оператора, «звукач» и сам Рифкат, а здоровен-

ный сержант, с грохотом лязгая металлическими дверями, орет во всю луженую глотку:

– Первый пошел! – и выпихивает «звучача».

– Второй пошел! – он выдергивает за шиворот Оскара:

– Выбросил сигарету!

На что Оскар, разыгрывая из себя «блатного», выкрикивает:

– Отдыхай, начальник!

– Третий пошел!

Риф выбежал, съезжившись, и, придерживая у груди рюкзачок, засеменял на выход.

– Четвертый пошел! – эта команда была дана Горшкову, игравшему опытного арестанта Кайло.

Солдаты с псами стоят в две шеренги, вскинув автоматы, и вновь здоровяк орет:

– Первые двое в автозак, бегом марш!

– Вторые двое, бе – го – о – м – марш!

Горшков и Риф бегут к автозаку, натасканные на людей овчарки рвутся с поводков, норовя укусить, и надо было видеть, как Риф весь, точно промокашка, скомкался от страха.

Я едва удерживался, чтобы не рассмеяться во время кадра. Рустам отснял панорамой картину загрузки и увел камеру на деревья. Из автозака осторожно выглянули наши заключенные, косясь на псов.

Рифкат позже рассказал, что он испытал во время бега:

– Я чувствовал себя букашкой, думал, они меня съедят!

– А ты думал, легко нам на этапах? – смеялся Дима.

ПОБЕГ

Кто из Вас, дорогие читатели, знает, что такое побег? Ну а кого бог миловал, тем я расскажу...

Это когда ты в каменном мешке, с зарешеченными окнами, и за железными дверями натасканная многочисленная охрана.

Это когда в разделенном «локалками» лагере в каждом ба-раке десятки стукачей, и от свободы тебя отделяют хитрые паутины, «запретка» и высокий забор.

Это когда с вышки, в прищуре недремлющее око часового, и в стволе заскучавшая пуля.

Это когда ты один на один со своей судьбой и вверяешь ее в руки Господа, давно отвернувшегося от тебя.

Это когда ты бежишь, и крохотное сердце гремит на всю округу.

Короткими лагерными ночами ты прокручивал его сотни раз, и потом, в рваных дремотных снах, он являлся во всех ужасах. В них ты лезешь по отвесному забору к самому верху и достигаешь его, но горячий выпущенный шмель обрывает твой путь.

Я лез по такой стене. Произошло это в ситуации столь отчаянной, что я решился на безумный план.

Я окуну вас в пучину мрачных, но по прошествии времени кажущихся забавными событий.

В крохотном бусике рядом сидел крепкий болгарин, опутанный цепями.

— Куда нас везут, это Венгерская Бастилия, — «лязгнул» он, убивая проблески надежды.

Ничто не предвещало столь крутого поворота в судьбе. Я упивался красотами города, старинных музеев, древних замков.

Но!!! «Судьба играет человеком, а он, глупый, играет на рояли».

Мой горестный попугайчик дал совет проситься на четвертый этаж:

— Там содержатся выходцы из стран СНГ.

Надо было слышать мою косноязычную речь, когда я умолял рядового полицая, называя его капитано.

— Эн нэм бессалът модьяруль, некем кель собобо, ейть шок орос фиу. (Я не говорю по-венгерски, мне надо в камеру, где есть много русских).

Душа моя тянулась к родственным душам и языкам...

Гигантский айсберг «Дерш — кочи». Девять тысяч человек. Заселенный разными нациями и народностями, он напоминал плавучую громадину.

Огромная воронка, куда сливались человеческие судьбы.

В дальнем углу камеры сидел «босс», поигрывая огромными бицепсами. Мощный торс покрывали цветные татуировки.

Напротив, с перебитым боксерским носом, развалился двухметровый амбал.

Этот мадьяр признается мне, как рыдает его старенькая онто.

— Все матери на земле одинаковые, — подумая я.

Бывают в жизни удивительные встречи. Люди сталкиваются, точно звездочки, в необъятной вселенной. Так встретились мы с Кристианом — чемпионом Румынии по боксу и сразу стали друзьями, что по-венгерски — брат. Он был чудо!

Скудную пищу мы делили по-братски до грамма. Жуткая мешанина языков и жестов. Несколько дней спустя он уже мог произносить: — Давай покурим, — а я ему:

— Ми чиналь? (что делаешь?)

Я изучал Коран и совершал намаз. Оба мы напоминали тонущих в бескрайнем океане людей, слепо надеющихся, что рядом проплывет корабль.

Он видел блеск в моих глазах и трепет лица при прикосновении к священному Корану. Вскоре он сидел рядом в сажде, коверкая слова молитвы, я обратил его в ислам.

Кристиан очутился в Будапеште в поисках работы. Бадигер — это охранник в ночном клубе! Случилась жуткая средневековая драка с воинствующими албанцами, и теперь они разыскивали паренька по всем этажам. Над его жизнью висел топор мести со сверкающим жалом.

Я познакомился с якудза из страны восходящего солнца, с драконом на всю спину. Разноголосое население айсберга относилось к нему с почтением.

С миллионером-арабом, проводившим отпуска на пляжах Сицилии, и в срок возвращавшегося в «Бастилию». В голове это не укладывалось.

С солнцевским пареньком, купившим виллу на Балатоне, делая «баксы» в неволе. Это был его бизнес!

С унылым венгром Питером, ахавшим: — Это ад!

В моем сердце шевелилась гордость: — В нашем аду ты и дня не проживешь!

С обманутым хохлом, всадившем шесть пуль в человека, у которого вместо миллиона в кейсе оказался блок сигарет:

— Ты понимаешь, как получилось...? — тянул он.

Там на разных языках пели горькие песни узников, а я «Таганку».

Там в побоище с кубинцем моим «маваши» позавидовал бы Ван Дамм.

Там среди зэков существовал приз — куль апельсинов — за красивую драку! И мы бились голыми кулаками!

Там прорицатель — цыган Мишка увидит во сне мою скорую волю, и все сбудется...

Невлюбил китаец. Я доказал ему, что Великую Стену дети Поднебесья построили, защищаясь от кочевников.

Невлюбил итальянец. Я сказал, что Папа Римский на коленях умолял Едила — Атилла — Атти, чтобы он не входил в Вечный город.

Невлюбил македонец, считавший себя потомком Александра. Я дал ему понять, что Ескендир Двурогий сломал зубы о сакскую степь.

Я рисовал на бумаге карту мира и объяснял, где находится Казахстан.

Я говорил: — Всю Европу можно разместить на территории моей страны. — Крупный наркоторговец-араб задал вопрос:

— А сколько героина можно продать в вашей стране? Тонну? Две?

Я ответил, что у нас предпочитают водку.

Судьба послала нам испытание в лице подлинного чудовища.

Узловатое тело в сто двадцать килограммов сплошь татуировано, точно усыпано маленькими отвратительными змейками; безобразное, разбитое оспой лицо; пустые желеобразные глаза; изрытые шрамами кулаки; рот, в котором недоставало трех передних зубов; в провале мелькающий раздвоенный язык, словно жало гадюки.

Я просил у бога, чтобы миновала меня чаша смерти и мой друг умолял о том же.

— Секондню спать низзя, — прошептал мне Кристиан.

Синие глаза были наполнены тревогой: — Эн райенни миас, эз дилькош!

(Я догадался, это убийца!)

— Шегет шег хивни? (Позвать на помдшь?)

— Нэм лехет! (Нельзя!) — покачал Кристиан головой.

Отключили свет, и якудза включил ночник. Желтый свет упал на его лицо, и оно приобрело зловещий оттенок.

Близилась развязка. Кристиан лежал на животе, и видно было, как на скулах проступили желваки. Я поймал его напряженный, испытывающий взгляд. Червь сомнения в надежности взявшегося в его судьбе кочевника проник в его душу.

Это движение кабана я все-таки прозевал. Резкий стук вырвал меня из состояния покоя и глаза невольно распахнулись.

Кабан выгнул колесом моего друга. Он с хохотом тянул к себе концы гаротты.

Кристиан барабанил ногами по кровати. Я не прыгнул, не соскочил, а тихо поднялся. Так бесшумно скользят кошки. Кристиан успел извернуться и вдавил кабану пальцы в глазницы.

Что за человек был этот дикарь, я до сих пор не устаю поражаться. Он терпел эту невыносимую боль, но не выпускал моего друга.

Я напал по-звериному люто. Мы били его не мельтеша, точно нанося удары. Я физически ощущал, как кулаки отскакивают от непробиваемого панцирного тела.

Он оказался потрясающим соперником. От ударов животного крупные яркие звезды летели из глаз. Он мог прикончить нас обоих. То была знатная драка. В мозгу вертелись строки Твардовского:

«Бой идет не ради славы, ради жизни на земле!»

Кабан лежал без чувств.

— Олудь дисно! (Спи, свинья!) — произнес я. Губы якудзы шевельнулись в улыбке.

Воля, воля!!! Я мечтал о ней. Она мне снилась ночами, являясь в образе раскинувшейся от горизонта до горизонта прекрасной весенней степи, над которой сверкало яркое солнце, разлившееся для всего живого, что населяло край свободного Духа.

Для Кристиана тюрьма стала опасным местом, и он принялся разрабатывать сценарий побега.

Каждый вечер надзиратели на небольшой тележке развозили по камерам медикаменты, и мой бедный товарищ предложил взять их в качестве заложников. Это был губительный план, вернее, жест крайнего отчаяния, и я не принял его, но навязал свой.

В те дни из Петербурга выручать меня приехал мой друг Михаил Опескин. Крохотными буквами на тонкой фольге от сигарет я составил ему схему «Бастилии» и попросил вшить в пуховик десять метров альпинистского шнура. Я ждал несколько дней, и мое терпеливое ожидание вознаградилось, меня повели к нему на свидание. С руками, закованными сзади на цепь, я шел по длинному, пустому, гулкому коридору, в сопровождении двух полицейских.

Под языком я хранил сверхсекретное послание к другу. И вдруг неожиданно для себя я кашлянул, и квадратный комочек фольги пулей вылетел изо рта. Оба полицейских мгновенно среагировали, ретиво бросаясь к моей запечатанной Тайне. Но я не мог допустить, чтобы она попала в их руки. На бегу ударом плеча я сшиб одного из них, схватил комочек, и невероятным образом вывернув руки, сунул Тайну в рот.

— Ми а проблем? — дико вскричали бдительные служаки.

— Нинча проблем, нинча! — так же безумно тараша бельма, заорал я, выталкивая изо рта жвачку.

Взъерошенный худосочный старшой кончиком ботинка растер резинку по полу и презрительно выругался по-венгерски.

— Ох, уж эти русские болваны... — так примерно прозвучали его слова.

В просторной камере меня ожидал Миша. Я бросился ему на шею и, прильнув к его губам, принялся вталкивать Тайну. Но, ошарашенный моим нелепым поведением, он хлопал глазами и упорно не разжимал рот. Уже со всех сторон нам угрожающе кричали, а изящная переводчица, коверкая язык, тараторила:

— Нельзя обниматься, нельзя, иначе мы лишим вас встречи...

— Я соскучился по нему, вы поймите, он мой друг... ну неужели вы совсем не понимаете?

Зрочки кокетки расширились, и ее извращенный мозг, вероятно, исковерканно подсказал степень нашей дружбы, она стыдливо опустила густые клееные ресницы. Тайна оказалась во рту Михаила.

Позже, в камере, вволю насмеявшись с Кристианом над моим приключением, я попытался сделать то же самое, но это оказалось невозможным. Как я не изгибался, не выворачивался, пальцы не дотягивались до рта. Оказывается, в минуты экстремальной опасности способности человека превосходят воображимое.

Эту посылку мы с Кристианом ожидали, словно манну небесную и, наконец, она пришла. Теперь все дальнейшие прогулки я совершал только в пуховике, чтобы он примелькался надзирателям.

Мы с Кристианом твердо решили выбраться на П-образную крышу нашей крепости, и спуститься с нее при помощи спасительного шнура. Дело в том, что металлическая решетка, накрывающая сверху одну из прогулочных камер, оставляла узкую щель между восьмиметровой стеной. В один из дней, улучив момент, я поднял на вытянутые руки друга, давая ему возможность допрыгнуть до стальных прутьев передней стены. Поражавший меня своим умением бегать по вертикальным стенам, ловкий, словно Маугли, Кристиан, быстро перебирая руками, пересек периметр камеры и добрался к заветной щели. Он просунул в нее свою голову и... она, к моему немому восхищению, пролезла! Незадолго перед этим мы обмеряли наши черепные коробки и остались удовлетворенными: окружности наших голов не расходились даже на сантиметр. Как известно, где пролезает голова, при определенной гибкости можно просунуть и все тело, а мы с Кристианом находились в отличной форме.

С этого дня мы стали готовиться к побегу. Ежедневно сотнями раз мы с ним подтягивались на отопительной трубе, идущей по камере, качали пресс, отжимались от пола, тягали штангу и главное — налаживали отношения с одним из надзирателей. План был прост: я достигаю стены, пролезаю в щель и с крыши бросаю Кристиану шнур.

И вот день X настал!

Никогда так долго не тянулось время, как в тот вечер. Наконец, полицай явился. Мы с Кристианом стояли на пороге. В нарушение инструкций он вывел нас обоих и повел в тот самый дворик. Все складывалось как нельзя лучше.

Кристиан встал у стены. Я залез ему на спину. Изловчившись, прыгнул вверх. Надо было двигаться к противоположной стене. В тот день моросил дождь, и металлические поперечины были мокрые и скользкие. Стал перебирать руками. Пальцы невыносимо болели. Но вот я достиг ее. Напрягаясь из последних сил, начал просовывать голову в щель и... о, проклятье! Она не лезла. Она не пролезала!

– Дабай, дабай быстро, быстро, – шептал снизу мой товарищ.

– Я не могу, она не лезет! – выдыхал я в отчаянии.

– Дабай ище, ище! – умолял он.

Шаги полицаия гулко разнеслись по коридору. Я представил, как он ворвется в дворик и откроет пальбу. Засосало под ложечкой. Я почувствовал, как горячая безучастная пуля оборвет мой путь.

Пальцы разжались. Я полетел вниз. Кристиан успел со всей силы толкнуть меня, и этим спас мне жизнь.

На бетонный пол рухнул не я, упала и разлетелась наша мечта о победе.

Состояние было тягостное! Когда ты уже видишь чистое небо свободы над головой и всего-то строение твоего несурязного черепа преграждает путь к ней, желанной, то от осознания бессилия у тебя опускаются руки.

Но позже выяснилось, что все шло по Высшему предназначению! Оказывается, это Всевышний уберег меня, и когда я лез по этой гадкой решетке, он сверху возмутился:

«Ну куда тебя, глупец, вновь понесло!!!»

Потому что наутро я получил короткую записку от моей жены Светланы, сообщавшей, что назавтра меня освобождают, и она будет ждать у ворот...

Меня трясло, точно я держал в руках оголенный электрический провод, и не было сил рассказать об этом Кристиану. Оттого что я теперь уйду, оставив его одного на произвол судьбы, которую ему вряд ли могла бы предсказать даже прорицательница Ванга.

Целый день я ходил смурной. Кристиан искоса бросал на меня взгляды и только под вечер решился подойти.

— Не отчаивайся, мы все равно убежим, — сказал он, — будем теперь искать другой план.

После этих слов впору бы сердцу вовсе остановиться, но оно, глупое, продолжало предательски стучать.

— Кристиан, вот записка. Ее прислала моя жена. Помнишь, я тебе показывал ее фотографию. (Как-то раз я показал ему снимок Светланы. Кристиан долго разглядывал его и затем восхищенно произнес: — Красивая!) Так вот, меня завтра освобождают...

Глаза моего друга то сужались, то расширялись, в них мелькали растерянность, испуг, то отчаяние затуманивало взор, то вспыхивала надежда, что я пошутил.

— Это правда, — сказал я.

— А как же я? — его голос повис в воздухе.

Я ничего не мог ответить ему. Больше мы ни о чем не говорили. Я не знаю, о чем думал он, я видел, что пытается держаться, моя же голова стозвонно гудела, будто пустой чугунный казан. Светлана, подобно женам декабристов, из сотен тонких, как человеческий волос, дорог к моему спасению, нашла одну-единственную, но верную, и вот уже извещает о свободе.

Свобода, о которой я так грезил, мечтал, стала в один миг осязаемой, счет уже шел на часы, но счастья я не испытывал. Потому что я уходил, а Кристиан оставался.

Никогда еще так поразительно медленно не тянулась НОЧЬ, словно она была резиновой, и я проклинал ее за это. Обитатели камеры радовалась за меня, все завидовали, хотя никто этого не показывал. Те, кого я там обучал искусству каратэ, раскрывали объятия и, не скрывая сожаления, выплескивали: — Прощай, учитель!

В венгерской Бастилии существовал глупый порядок выпускать из неволи на рассвете, когда все спят. И вот рано утром, лишь только за решеткой засерело утро, мы с Кристианом разложили наши продуктовые запасы, устраивая проводы. Жевали механически. Кусок не лез в глотку. Надо было видеть омертвевшее лицо друга. Голубые глаза застыли, кровь слы-

нула с румяных щек, они посерели. Мы молчали, не было слов.

Наконец, пришел полицаи и, открыв кормушку, сказал мне, чтобы я собирался. Он распахнул дверь и стоял в ожидании, приговаривая слово: — Сობодчак! — что означало: СВОБОДА!

Кристиан по традиции швырнул мне вслед мусор из камеры и прокричал, что обязательно разыщет.

Он растворился, точно капля воды, в людском море тюрем Шандор-хаз, Марко-бертон, Дюйту...

— Веточка жизнь, синеглазый клубочек,
Скачет, мелькает, средь сосен, средь льдин,
То вдруг заплачет, то захохочет,
Не дожидаясь, а что впереди!...

Итак, это был побег из лагеря строгого режима.

Глубокой ночью в свете мощных «ДИГов» уставшая, вымотанная группа снимала его, и нам с актером Горшковым, игравшим Кайло, пришлось все делать самим. Каскадеров не было по причине их дороговизны, и мы, как заправские «побегушники», лихо перемахнули одно за другим заграждения из колючей проволоки, не обращая внимания на разодранные в кровь пальцы. На высоком заборе я встрял, зацепившись за «колючку» и «Кайло» буквально вытолкнул меня на гребень. Солдаты с вышки открывают стрельбу по беглецам и ранят Кайло. Я подхватываю Горшкова на плечи и бегу что есть силы, шатаясь из стороны в сторону. Казавшийся худым Горшков на деле оказался увесистым. Вот так пять дублей по сто метров, посреди комарья и зарослей камыша. На следующий день ноги гудели подобно телеграфным столбам.

Я кладу на землю мертвого Горшкова — Кайло и под несущимся роем разноцветных пунктиров прощаюсь с бедным товарищем.

Экранное время «рывка» в картине заняло немногим более пяти минут, но чего это стоило группе!

Пробеги снимали в ледяной воде Ужета. В кадре Единственный бежит по черной в ночи воде и с размаха падает в нее.

Эпизод с «моторкой», увозившей Единственного от преследователей, в Семее.

Ее нам достал замечательный человек Вася.

Сцену с «УАЗом», лихо влетевшим на взлетную полосу, и транспортный самолет — на военном аэродроме в Алматы.

Ну а встречу с Яковым — в элитном особняке крупного чиновника. Теперь надо сказать дорогому читателю: — Вот что такое кино!

Смех компенсировал все проблемы.

По мизансцене из проходной к «УАЗу» подбегает военный и требует въездные документы. На что водитель реагирует вопросом:

Где Иванов?

Иванов заболел! — так должен ответить военный и тогда водитель — профессиональный убийца, сбивает последнего с ног, и, набросив удавку, душит его.

Оказалось, что в роли военного некого снимать, и я послал второго режиссера поискать добровольца. Привели огромного капитана, мирно игравшего в волейбол и любезно согласившегося сыграть.

— Вы подойдете к машине, потребуете у водителя документы, а он у вас спросит, где Иванов, и вы ему скажете, что Иванов заболел. Хорошо?

— Хорошо! — согласился ничего не подозревавший капитан.

Отдельно Рустам сбивчиво поставил задачу водителю:

— Ты ударишь его лицом об дверь и после этого задушишь. Хорошо?

— Сделаю! — ответил водитель, и никто в пылу съемок не сомневался, что он понимает условность происходящего.

«УАЗ», везущий Единственного, на высокой скорости подлетел к КПП. К нему быстрым шагом подошел военный и попросил документы. Никто и глазом не успел моргнуть, как водитель со всей силы ударил бедного капитана дверцей. Оглушенный вояка сполз вниз, а водитель набросил ему на шею удавку и стал по-настоящему душить мирного человека. Капитан, в последний момент оценивший степень опасности для жизни, стал дико сопротивляться, и Рустам закричал оператору: — СТОП! — а группа каталась по земле от смеха.

СВОБОДА – КОРОНАЦИЯ

В роскошном особняке дивная красавица Наталья ведет моего героя в сауну и там хлещет залагеревшее тело березовым веничком, а после бассейна мажет его чудными мазями.

Дважды я в реальной жизни испытывал сладкое чувство свободы. Но темный мир неволи никак не желал отпускать меня и прицепился кошмарным сном на долгие годы.

Он приходил ко мне каждую ночь: убежавшие из лагеря, мы с напарником крадемся по тесным улочкам и нам необходимо перебраться через стальные нити железной дороги. Но вдоль нее курсируют милицейские «УАЗы» и нет никакой возможности осуществить переход. Сдвоенные патрули с овчарками ищут нас, обходя дом за домом, и мой напарник куда-то исчезает, а я прячусь в каком-то погребе. Меня обнаруживает хозяйка дома, и я молю ее не выдавать, а патруль уже рядом!

Этот сон мне снился в различных интерпретациях, но ни разу меня не выдали хозяева. Продолжение во всех снах было одинаковым.

Я бегу к спасительным камышам по голой, испепеленной солнцем степи, еще рывок и я скроюсь в них, но!

Со всех сторон окружают милиционеры на мотоциклах, пешие бегут с собаками на поводках, а мои ноги стали ватными и они не бегут! Я хочу переставить их, но они не подчиняются мне. А «менты» все ближе, ближе, и я трясусь от ужаса, что сейчас меня возьмут!

Меня так злил этот ставший исчадием сон, что я решил отомстить ему, экранизировав, в надежде, что тогда он оставит в покое.

Единственный спит и ему снится жуткий сон: будто он бежит и его со всех сторон окружают солдаты со злобными псами. С жутким криком он бросается к окну, но там мирно покачивают ветками белоствольные березки. На его вопль в комнату заскакивает красивая Наталья, и счастливый герой, оттого что это был лишь сон, бросает в нее подушку, и они кидаются ими, точно дети. Приехавший Яков поразится ему, одетому в дорожную, стильную одежду.

Ба! Да тебя просто не узнать, чисто барин! — так реагирует молодой законник, сын вора в законе Туза.

На коньяком незаметно течет время и льется горькое открытие Якова. Грустную историю любви со страшным финалом поведает Яков. О том, как на этапе ему встретится прекрасная тетка-одесситка, позже ставшая ему женой, и как потом она трагически погибнет, оскверненная вологодским конвоем, в «ван-оглаке». Память о Яне была незаживающей раной молодого вора.

Эту сцену мы снимали глубокой ночью в пустом «столыпинце», и Яну играла потрясающая актриса Ира Лебсак. Когда в романе я создавал образ Яночки, очаровательной маланки, именно такой я ее и представлял. В роман я вложил свое восприятие Одессы и, создавая Яну, вложил в нее пылкий образ Агнессы.

Надо отметить, как хорошо сыграли заключенных ребята из группы, не понаслышке знающие, что такое этап, и как они были возбуждены, вернувшись на нары через кино.

КОРОНАЦИЯ

Наступил день коронации. В загородном доме патриарха воровского мира, вора в законе по кличке Дядя Саша, собрались законники. Мы быстренько отсняли проезд в «Мерседесе», в котором Яков везет Единственного на сходку. Душа тихо радовалась тому, что не предвидится никаких «сюрпризов».

Однако я ошибался. Они начались, как только автомобиль въехал на территорию особняка. Певица, задействованная в сцене застолья, узнав, что Армена Борисовича Джигарханяна не будет, наотрез отказалась играть, и пришлось выкручиваться на ходу. Не оказалось и двух актеров на роль законников, так что группа пребывала в шоке. На глаза мне попался новый осветитель, и я принялся тщательно всматриваться в его облик. Лицо его показалось мне необычным, и я повел смущенного упирающегося «светлячка» к гримеру.

— Это вор Мераби, — сказал я, — зачешите ему седые волосы назад и оденьте в дорогой костюм.

Недостающего вора по кличке Вахтанг я нашел на соседней стройке и уговорил, пообещав кавказцу бутылку коньяка. Пока костюмеры переодевали, гримеры делали грим, а второй режиссер репетировал с ними, Рустам готовил мизансцену. Я уже рассказывал о его потрясающей способности не вглядываться в лица актеров, и в этот раз все произошло именно так. Лишь на мгновение расширились зрачки, когда он в воре Мераби узнал осветителя, и тут же погасли.

— Все готовы? — спросил он и, услышав утвердительный ответ, скомандовал: — НАЧАЛИ!

Поднявшись по лестнице, мы с Яковом вошли в овальный зал, где в ожидании нас сидели законники, и Яков стал знакомить меня, т.е. Единственного, с ворами.

— Завезли меня как-то раз на Севере в один лагерь и там мне рассказали историю, что была эта зона «красная», и загулял там один кавказец, шестерых за ночь порубал, — повел разговор вор Валико, импозантный поэт Володя Бобов. Володя щелкал зажигалкой, неторопливо прикуривая толстую сигару, намеренно приковывая к себе внимание и становясь его эпицентром.

— Так вот, слышал я, что ты разморозил эту зону, Единственный? Было? — строго спросил Валико.

— Было! — утвердительно махнул головой я, и сигаретным дымом потекли воспоминания, которые мы уже отсняли в зоне.

— Расскажи нам о себе, — потребовал Дядя Саша, актер-дублер Джигарханяна, и взоры законников обратились к Единственному.

— Вырос в детдоме и стал красть. Потом была малолетка. Освободился, снова стал красть и вновь залетел на срок. А потом они пошли чередой, мои лагеря, но всюду жил по совести арестантской, пока не встретился с Тузом, за которого ментов «пошинковал» и под «пыж» ушел, а остальное вы знаете, вору.

В холле воцарилось молчание, и только дублер вора дяди Саши разорвал ее вопросом:

— Кто еще хочет спросить у Единственного?

Хорошо ли ты все обдумал, решив взвалить на себя тяжкий крест? — сдвинув дорожную оправу на кончик носа и подняв низкий взгляд, вымолвил осветитель — вор Мераби.

Да, хорошо! — ответил я. — Если понадобится, жизнь положу на алтарь воровской идеи.

Вор в законе Вахтанг согласно мизансцене вышагивал за спинами законников и вероятно раздумывал про цемент и коньяк, в ожидании, когда закончатся непонятные ему действия. Было смешно и приходилось загонять смех вовнутрь.

Патриарх воровского мира Дядя Саша поднялся с места и направился ко мне:

— Отныне ты наш брат и все воры твои братья! — торжественно произнес он, но скажу вам, дорогие читатели, я ничего не испытал в тот миг. Плохо играл дублер Джигарханяна.

Это волнение я испытаю позже, когда вместо внезапно заболевшего Армена Борисовича Джигарханяна роль Дяди Саши станет играть мэтр театра и кино Валентин Гафт. Я испытываю трепет от его по-настоящему воровского взгляда, пронзающего насквозь, и ощущение дрожи в коленях будет подлинным. Когда эти слова произнесет Гафт, мой герой Единственный станет истинным вором в законе и холодное дуновение ветра на вершине иерархии преступного мира заставит его пожить.

Затем было застолье, сладкая «Хванчкара», грустная песня Кати «Далеко, далеко журавли улетели

оставляя края, где бушуют метели...»

и тосты за недоживших, погибших в сучьих войнах, в побеге, в застенках законников.

Смешное наступило позже, когда отсняли застолье и забывшийся вор Мераби продолжал бражничать с ворами-актерами, в то время как осветители собирали аппаратуру.

— Эй, братан! Ты чего расселся тут? Кино кончилось, давай скручивай кабеля, — скомандовал возмущенный до глубины души осветитель Дима. — Расселся и вино попивает! Вор мне нашелся! Смотри, в роль вошел! Че, ништяк вором быть? «Хванчкару» пьешь, разборки чинишь! А о том ты не подумал, что за эту идею Единственный вон два червонца отмотал и под

«пъжом» чалился! Сдирай «лепень», кому говорю, заматерел, что ли? – кричал Дима, и группа после нервной перегрузки смеялась так, что у многих скрутило животы.

– А ты бери коньяк и дергай на свою стройку, – наехал Дима и на бедного вора Вахтанга, строителя-кавказца.

Так родившийся в пещере, выросший в детдоме, прошедший суровую школу улицы и сохранивший в себе способность любить, Единственный стал вором в законе.

СЪЕМКИ В МОСКВЕ

Доходы от преступного бизнеса и зарубежные счета, с одобрения Дяди Саши, берет под контроль Единственный. Он подчиняет себе поставки нефти и встречается с авторитетом по кличке Фрол.

Сергей Беляев – замечательный актер из театра Олега Табакова, здорово отработал в этой роли.

Эту сцену мы сняли в Москве. Мы прилетели в столицу России в разгар зимы и, поселившись в гостинице постпредства Казахстана, «сели на телефон».

Голос в трубке шокировал известием, что Армен Борисович Джигарханян, с которым у меня была договоренность на съемки в роли вора в законе Дяди Саши, тяжело болен.

У меня пересохло во рту. Положив трубку, изложил Рустаму пренеприятную новость.

– Я сейчас позвоню Григорию Острину – Тузу, и попрошу, чтобы он свел меня с Валентином Гафтом, – промолвил я.

В тот же день Острин устроил мне переговоры по телефону.

Я старался говорить спокойно, уверенно, не допуская паники, и это сработало, мэтр согласился прийти.

Наутро мы стали ожидать его прихода, и вдруг в холле возник Валентин Иосифович, великий актер, увидеть которого я мечтал. Я предложил ему посмотреть отснятые эпизоды, и он с радостью согласился. Ему понравилось.

Он внимательно просмотрел отснятые эпизоды с дублером дяди Саши и сразу же заметил, что дублер подобран под Армена Борисовича.

— Мы его подбирали под него, но он заболел. Но вы не волнуйтесь, мы вас снимем и на монтаже все точно подгоним.

— Да? — мэтр сомневался.

— Да! — уверенно произнес я.

— Я должен подумать.

— Вы подумайте, а я отлучусь ненадолго, — от волнения и переживания я не мог находиться с ним рядом.

Итак, я ушел, оставив его просматривать материал и, выйдя на улицу, скурил одну за другой две сигареты. Когда я вернулся, он сказал:

— Давайте попробуем.

Вот тут-то Рустам вынул злосчастный парик, изготовленный под Джигарханяна. — Вы наденете вот этот парик, — вежливо предложил Рустам.

Гафт взял его в руки и долго брезгливо рассматривал. Я чувствовал, что сейчас что-то произойдет, и вдруг мэтр произнес:

— Этим париком можно только чистить ботинки.

— Вы абсолютно правы, Валентин Иосифович, он совершенно неудачно сделан, и мы будем работать без него, — выпалил я, поражаясь своей мгновенной находчивости, и взглянул на Рустама.

Рустам сообразил:

— Да, мы обойдемся без него, но усы надо будет приладить, — на ладони Рустама лежали кошмарные усы.

И вновь Валентин Иосифович продолжительное время разглядывал их и неожиданно уступил.

— Ладно, усы так и быть, приклею, зовите гримера.

Точно гора с плеч упала. Проклиная гримеров, изготовивших парик, за который мы чуть не сгорели от стыда, крикнул оператора с гримером.

Стали делать крупные планы прямо в холле гостиницы. Было шумно, вокруг сновали люди, писать звук оказалось невозможным, и мэтр стал нервничать:

— Тихо! — крикнул он, — здесь снимается кино!

Он играл потрясающе и просил дубли, всякий раз предлагая новую игру:

— Ну, как? — спрашивал он, и я отвечал: — Отлично!

– Давайте еще дубль, я сделаю чуть по-другому.

Рустам командовал оператору: – МОТОР! НАЧАЛИ! – и Гафт удивлял совершенно другой игрой. Вот что такое мастер!

И далее мы отсняли тот самый кусочек, где Гафт – Дядя Саша подходит ко мне, вернее к Единственному и, обнимая за плечи, произносит знаменитую фразу:

– Отныне ты наш брат и все воров твои братья!

Вот тогда-то я почувствовал эту сцену, и что в ней происходит по-настоящему важное событие в жизни моего героя. Гафт вперился очами в мои глаза, произнося свою реплику, и по коже у меня побежали мурашки.

– Рустам, давай снимем сценку, где Дядя Саша предупреждает Единственного о Пауке.

– Давай! – поддержал меня Рустам и на ходу родился эпизодик.

Мы поднялись в роскошный номер президента нефтяников и усадили Валентина Иосифовича в белоснежное кресло:

– Говорят, Единственный, что тебе не нравится Паук, Паучок мой? Смотри, Единственный, с головы Паука не должен упасть ни один волос, он мне нужен, Единственный, помни об этом.

Мэтр здорово отыграл и в конце речи так хищно шевельнул ушами, что мгновенно вылепился образ коварного хищника и короля преступного мира.







Летние съемки

Давно отцвела сирень! Закончились веселые, наполненные приключениями весенние съемки, и новые проблемы не заставили себя ждать. Новые на деле были старыми и заключались они все в той же нехватке денег. Я напоминал рыбу, выброшенную на раскаленный берег, лежащую в нескольких метрах от воды и с тоской на нее взирающую. Отчаянье разрывало грудь и некому было жаловаться на судьбу, оттого что крест добровольно избран мною самим. Однако мы с упрямством обреченных готовились, и наступил период летних съемок. В эти тяжелые дни в группу вместо наконец-таки ушедшего Миши пришла опытная и разбитная киношница Рая.

Работа пошла веселей.

— Приговоренному к сожжению — вода не страшна! — гласит пословица и, набравшись дерзости, я прорвался к президенту «КазМунайГаза».

С негодованием я рассказывал ему, как в лютые морозы гнали этапом по заснеженной Сибири моего героя Каратаса и с каким достоинством он нес судьбу. Я видел, как переполнялись ненавистью к тиранам его глаза. Белые пальцы, сжимавшие ручку, дрогнули, и по бумаге, вопиющей о помощи, разлетелись благословенные слова:

— Оказать спосорскую помощь!

— Дорогой Ляззат Кеттебаевич! Только что вы развязали узел на шее писателя, ворвавшегося в жестокий и чарующий мир кино! — шептали мои губы, и внутри, стозвонно звеня, перекатывались ноты благодарности.

Чего не сделаешь во имя своего детища? На какой риск не пойдешь?

Однако, вернемся к картине!

В один из дней, когда вор приезжает на стрелку, в холле ресторана он встречает Меченого. Они узнают друг друга и в этот момент Единственный слышит песню. Ту самую, которую в его шальном детстве исполнял молодой певец для Майдана, и они, воровские «пескари», затаив дыхание, слушали ее. Единственный спешит на звуки мелодии и, пройдя к столу, зачарованно внимает.

«Помнишь, ты крошка, сопливой гуляла,
а я в тебя камни кидал,
но годы промчались и мы повстречались
и я тебя милой назвал!»

За боковым столом молодые отморозки разбрасывают последний налет. Это не люди, а существа на двух ногах, и вору доводилось таких встречать в лагерях. Он знает, что при первой трудности они ломаются и становятся в той жизни «парчушками». Но теперь эти «молодцы», чувствуя безнаказанность, гнут пальцы веером и пытаются говорить по «фене». Это были Слава, Раис и Виталик — крепкие ребята из нашего спортзала. По моей просьбе они и сыграли бандитов.

Причем из седовласового Славы, человека очень доброго по натуре, я слепил главаря банды, такого прожженного циника и садиста.

— Да че с ним базарить? Надо было забросить его в багажник и вывезти за город, а там дать ему лопату и заставить рыть себе могилу!

Было смешно наблюдать за тем, как добряк Слава в кадре выдавливал из себя этот грозный монолог.

«Но не за то ты меня полюбила,
что кличка моя уркаган,
ты полюбила за крупные деньги,
за то, что водил в ресторан...» — продолжает петь старый лысый человек, и перед глазами законника всплывают события давно минувших дней.

То ли были они, то ли не были? Как восклицал Василий Макарович Шукшин в «Калине красной»: — Эх, где же вы, мои воронье?

И вдруг прямо как тогда, не зря говорят, что в жизни все повторяется, в зал под звуки этой песни врываются «менты» и, слава богу, в этот раз «вяжут» не его, а распоясавшихся «отморозков».

Люди в масках и бронежилетах выводят «апельсинов» из зала.

Здесь мне хочется отступить и рассказать веселый случай, происшедший с людьми в масках.

Наш офис располагался в Доме Демократии, где заседали практически все оппозиционные партии. Когда вооруженные люди в масках, с собаками на поводках вошли в холл здания, оппозиция всполошилась, решив, что это пришли по их душу. Понеслись звонки во все стороны, и нам стоило труда успокоить их. Но вернемся к событиям в ресторане.

Шокированный вор направляется к сбитому «ОМОНОм» с ног певцу. Он поднимает с пола упавшие очки и подает их владельцу.

— Скажите, пожалуйста, откуда вы знаете эту песню? — задает он вопрос.

— Я, молодой человек, автор этой песни, — произносит певец, и жиган отступает в шоке, вертя головой.

С вами когда-либо происходило ли такое, и если нет, вы счастливый человек! Потому что страшно, когда память безжалостно ввергает тебя в пучину воспоминаний, и они, эти страницы прожитой жизни, неимоверно тяжелые.

Такой вот эпизод задумали мы снять, и нужен был фактурный певец. Кто-то назвал имя Владимира Шандрикова и меня словно перетянуло током.

Я стал звонить в Омск друзьям с просьбой разыскать мэтра шансона и вскоре пришло радостное известие.

Старый, больной, бывший зэк был невероятно счастлив, узнав, что понадобился для кино и запросил текст.

Я отправил. Через пару недель пришла фонограмма. Песня моего детства, ставшая путеводной и в жизни Единственного, зазвучала на новый лад. Она стала звучней и наполнилась другим, философским смыслом. Я звонил Владириру почти каждый день, и он говорил мне в телефонную трубку:

— Я ее так спою, как никогда не пел!

А пел он много и душевно, дети шестидесятых должны помнить его суровые, правдивые песни.

Я ждал. Я отчитывал дни, часы и минуты до нашей встречи. Наступило утро, когда мои друзья должны были посадить его на рейс. Вместо радостной вести пришло печальное известие, которое выбило у меня почву из-под ног.

— Володя ночью умер, — сказали мне в трубку.

— Как это случилось?

— Он все последние дни только и говорил о том, что его пригласили в кино... на радостях запил, и мотор не выдержал...

Я скажу вам: ком застыл в горле, и не было сил продолжать разговор.

Владимир Шандриков — это эпоха в шансонной музыке и мне невероятно жаль, что он не успел облагородить собой нашу картину.

Позже это сделал кто-то другой, но меня это уже не трогало, и в момент, когда певец произнес сакраментальную фразу, я лишь играл!

* * *

В бревенчатом интерьере готовилась сцена криминальной разборки, и вновь отличился великий декоратор — Серега. Требовалось прикрепить к наружной стене надпись «ТЕХАС» и он взялся прибивать буквы, которые изготавливал целый месяц.

Это надо было видеть! В руке у него был огромный вышербленный булыжник и.. что вы думаете, было в другой? Крохотные гвоздики, едва длинней толщи пенопластовой буквы. Ими этот уникальный неповторимый человек делал попытки прибить громадные буквы к стене!

Постепенно вокруг меня собралась вся группа, и мы молча наблюдали за процессом.

Кое-как державшаяся Т мгновенно срывалась, как только он прибивал Е; висевшие на честном слове Т и Е отрывались и летели наземь, стоило ему начать приколачивать Х.

С терпением Христа он подбирал их с земли и снова приглаживал к безучастным красным бревнам.

Группа стояла с затаенным дыханием, точно пребывая в гипнозе, и лишь Рустам, очнувшись, спросил с поразительной выдержкой:

– Сережа, а у тебя нет гвоздиков подлиннее?

На что увлеченный собственным творчеством Доттер ответил коротко: НЕТ! – и продолжил работу.

В такое время на съемочную площадку приехали мой друг Яшар и брат Дулат. В руках у брата был загадочный сверток.

Это были деньги; надо отметить, что только в нашей стране можно увидеть пачки «баксов» в газетном свертке и презрение к зеленым бумажкам на лицах...

Мизансцена разборки воров с кавказцами была динамичной и кровавой по сюжету.

Сергей Погосян неподражаемо выдавал себя за бандита-отморозка и натягивал страсти до предела.

– Вы воры, да? Вот и воруйте себе, а в наш бизнес не лезьте. А если полезете, то мы вас уьем как собак, – произносил он с кавказским акцентом.

– Ты бы сначала научился с людьми разговаривать, – откликается басом возмущенный вор Стальной – театральным режиссер Преображенский.

– Да пошел ты... – посылает его один из бандитов. Такого вор в законе стерпеть не мог; Преображенский должен был схватить бутылку и ударить наглеца по голове. Он делал это медленно, неуверенно и нам пришлось снимать несколько дублей.

Мирный разговор авторитетов обрастает перестрелкой и жертвами ее становятся несколько кавказцев, а также вор Стальной. Наконец, в скоротечном бою воры побеждают беспредельщиков, и группа из душного зала выходит на улицу снимать отъезд законников.

Наши герои мчатся на высокой скорости по улицам Москвы и нарываюся на «ОМОН».

С такими, одетыми в бронежилеты и каски, с короткими автоматами на груди, крепкими парнями, мне довелось однажды встретиться на Петроградской стороне, в Петербурге.

Дело было так! С вечера мы пили коньяк на кухне у певицы Людмилы Сенчиной, и я приставал к ней с просьбой, чтобы она спела мою любимую песню «А пока-пока по камушкам...»

Было так мило в тот прекрасный вечер, потому что за окном шел мелкий, колючий дождь, какие тянутся в такое время года, а на кухне у Люды в хрустальных бокалах отсвечивал грузинский коньяк. За столом сидели мы втроем и говорили о композиторе Игоре Азарове, о его последней музыке для Любы Успенской «Манит, манит карусель» и еще о чем-то хорошем, дававшем надежду. Мой друг Миша к тому времени уже напился и никак не мог понять одного, как мы с Людой познакомились?

Людмила весело смеялась, меня умиляли ее курносый носик, ямочки на щечках, и я чувствовал, что теряю голову, и от этого хмелел еще сильнее.

И сама Люда вела эту тонкую игру, будучи женщиной с головы до пят, она то грустнела, и тогда мне хотелось стать ее шутком, чтобы развеселить ее, вызвать улыбку на красивом лице. То она беззаботно смеялась, и вечер превращался в очарование. Но Миша упорно твердил свое, ломая гармонию, и я решил проводить его к такси.

Это были лихие годы бандитского Петербурга. На улице, лишь только мы подняли руку, как вкопанная, остановилась иномарка с двумя мрачными типами, с бандитскими стрижками-площадками и золотыми цепями толщиной с палец.

— Ребята, вы езжайте, мы остановим другую машину, — произнес я, предчувствуя беду.

— Ты что, б...дь, мозги нам трахаешь! — заорал на меня тот, что был за рулем.

— Кто тебе, гаду, дал право сквернословить? — не удержался и я.

— Ах ты, сука, пи....ец тебе! — вскричал наглец и, бросив руль, выскочил из машины, на ходу толкая свою руку за пазуху.

— Сейчас он выхватит «ствол» и мне хана! — промелькнула мысль. В кармане кожаного плаща лежал небольшой китайский нож, какие продавались тогда в киосках, и я, выхватив его, рванулся навстречу.

— Вызывай! — выкрикнул тот, что бежал на меня. Все произошло настолько стремительно, что я не успел опомниться.

Он выхватил вместо ствола удостоверение с крутой надписью «ОМОН» и схватил меня, растерявшегося, за руку.

Нападение на «ОМОН», — выкрикнул другой по рации и тут же, словно это были съемки кино, из подворотни вылетел «УАЗ», из него горошинами посыпались крепкие парни в касках, бронежилетах, с автоматами в руках.

Нападение на «ОМОН», — опять вскричал другой. Первый крепко держал мою руку с зажатым в ней ножом.

Меня распяли на мокром асфальте, точно того убийцу, что был на кресте рядом с Иисусом. В затылок уперлись несколько стволов, а руки выкрутили так, что от боли серая ночь разом просветлела. И тут из вывернутого кармана достали мятую бумажку с отрывком записей для романа «Каждый взойдет на Голгофу», где я от лица своего героя, вора в законе Единственного, сидя в самолете, писал: «Каждой клеточкой своего мозга я ненавижу этих нелюдей в погонах — поганых «мусоров», что готов убивать, и нисколько не жалею о том, что резал их...»

Это была заготовка письма Единственного его тюремной любви Латвине в дни, когда он, приговоренный к расстрелу за покушение на надзирателей, находился в самом крайнем отчаянии.

И вот «ОМОНовцы» читают вслух эту мою заготовку под морозящим дождем и изо всех сил пинают меня, словно тренировочный снаряд.

— Убивать нас? наших резал, говоришь? С ножом пошел! Держи! — Они били, а я вспоминал слова из песни Владимира Высоцкого «Меня поутру бил аж целый взвод...»

Одним словом, проскочу неприятные минуты, когда ощущал себя тряпичной куклой, и выведу Вас к потрясающему моменту. Стирая с лица кровь, я словно в замедленном кадре увидел, как открылась дверь и вошла красивая Людмила.

Ее тут же узнали и смутились, когда она потребовала начальника.

— Я сейчас подниму с постели Анатолия Собчака, — Люда показала «ОМОНовцам» визитку мэра с надписью «Дорогой Людмиле от давнего поклонника Вашего таланта», — если вы сейчас же не отпустите моего гостя, писателя из Казахстана.

— Но он с оружием напал на патруль... и еще у него при обыске изъята записка, в которой он сообщает, что убивал наших сотрудников... Никуда мы его не отпустим, он наш...

— Решайте! У вас есть несколько минут... — Людмила достала из кармана сотовый телефон.

— Вы поймите, это я в самолете писал от лица своего героя, вора в законе по кличке Единственный. Он у меня сидит под расстрелом, — верещал я из-за решетки.

Лицо начальника серело по мере того как уходило время и, наконец, он нашел компромисс: — Мы сейчас пробьем его по компьютеру, и если ваш гость — не вор в законе и он не убивал наших сотрудников, мы его отпустим.

Потом было долгое ожидание. Люда дала мне сигарету. Она расспрашивала моего протрезвевшего друга Михаила о подробностях. Я тянул в себя дым разбитыми губами и опять вспоминал Владимира Семеновича:

— Это так говорю, гражданин надзиратель,
только зря говорю, гражданин надзиратель,
рукавичкой вы мне по губам!!!

Наконец, наше терпение было вознаграждено, и меня выпустили. Выяснилось, что я не вор в законе и не убивал сотрудников «ОМОНа». Это была приятная для меня новость в шесть часов утра! Люда вела прочь от плохой конторы, так уводит мать непутевого сына, и мне было стыдно, что доставили ей столько хлопот. Но мой друг Миша вместо того, чтобы радоваться счастливому концу, никак не мог угомониться и задавал тот же вопрос: — Нет, как все-таки вы познакомились?

— Мишенька, ну не в шесть утра! — взмолилась Людмила, а я расхохотался.

Итак, наши герои мчатся на высокой скорости по улицам Москвы и нарываются на «ОМОН».

«ОМОНовцы» открывают стрельбу по автомобилю и в первом дубле по-настоящему ранят Якова, хотя стреляли холостыми патронами. Рана от пыжа оказалась незначительной, но зато в кадре искореженное лицо Андрея выглядело по-настоящему отражавшим боль, так не сыграешь!

Ушедший от погони Единственный отвозит молодого законника в больницу и дальнейшие события приводят зрителя к кованным чугунным воротам дома цыганского барона.

ПРИЕЗД МОСКОВСКИХ АКТЕРОВ

В романе личность Анжелики была яркой, жертвенной и мне хотелось, чтобы на экране она была чувственной, любящей.

Я стал подбирать актрису на роль. Очень точно ложилась в образ актриса Сумская с Украины, но, к сожалению, она не могла участвовать в нашем проекте. Тогда я остановил свой выбор на Ольге Дроздовой и Евгении Крюковой. Ольга после сериала «Бандитский Петербург» уже была звездой, и я побоялся, что в нашем кино она будет восприниматься Катей. В Жене Крюковой виделось что-то близкое к моему герою, ее темные круги под глазами создавали трагичность и, взвесив риски, я вызвал Евгению.

Сутками раньше из Москвы прибыл Владимир Епископосян. Веселый доброжелательный Володя сыпал бесчисленными анекдотами и быстро сдружился с Дулатом и Яшей.

Играть цыганского барона должен был удивительный актер Михай Волонтир, но он заболел, и пришлось искать другого. В те дни в Ялте проходил фестиваль и там был Борис Хмельницкий. И вот он прилетел. Но когда в холл отеля вошла Женя со своим мужем, я понял, что ошибся в выборе актрисы. На лице звезды была печать надменности и московского высокомерия.

Но дело, как говорится, сделано, и коней на переправе не меняют.

Боря был узнаваем в отеле и умудрился стремительно «набраться».

В полдень мы выехали на площадку, но случился конфуз. Оказалось, что не приобретен костюм для Бориса, а платье Крюковой невзрачное.

Мы заехали в бутик, и я с ходу атаковал директора фирмы.

— Познакомьтесь, пожалуйста: Борис Хмельницкий и Евгения Крюкова, приехали сняться в моем фильме, но у нас проблема.

— Что же случилось? — спросила она.

— Необходимо одеть наших героев

— Не волнуйтесь, пусть они выбирают, мы решим вашу проблему, — произнесла директор и тихо добавила: — Бесплатно!

Сердце мое трепыхнулось, и я понял, что творить нужно ради таких людей.

Гордость за своих земляков переполняла его.

— Мы выразим вам благодарность в титрах нашей картины, — произнес я.

Где еще возможно такое, если не в нашей стране, не с нашими людьми?

* * *

Я очень ждал съемок цыганских сцен. Волновался. В них приехавшего на сватовство Латвины Единственного шумно, с почетом встречают цыгане. В романе это выглядело броско, с размахом.

Начали снимать вход в дом наших героев. Зазвенела гитара, полились мотивы, и поверилось в хороший результат. Евгения презрительно кривила губы, отпускала усмешки, и не было времени понять ее настроение.

Богато, красочно разодетые цыгане делали свою работу. Цыгане вообще прирожденные артисты.

Сели за стол, украшенный яствами и напитками; поднялся Борис Хмельницкий и стал произносить тост:

— Я хочу выпить этот бокал за человека с большой буквы — сказал он, — о котором мне много рассказывала дочь и теперь он здесь, среди нас, и как названный брат Латвины стал членом нашей семьи.

Борис говорил легко, проникновенно и, закончив речь, предоставил слово Единственному. Мизансцена складывалась!

— Мы познакомились с Латвиной посреди острова страданий, в местах безрадостных, где человеческое горе является нормой; твои письма, Латвина, согревали мне душу и дали силы выстоять, не сломаться. Помнишь, когда мы встретились? Я сказал, что пригоню тебе лучшую машину, и вот «Мерседес», на котором мы приехали, это мой свадебный подарок тебе... — закончил я.

— Вот это человек, вот это мужчина! — воскликнул барон, и тогда поднялась цыганочка, игравшая Латвину. Она была очень красива. Такой представлял я свою Латвину, когда писал ро-

ман. Черные, как смоль, распущенные волосы обрамляли пылающее лицо, с круго выгнутыми дугами бровей и огромными глазами. Когда она застенчиво улыбалась и ее губы, наполненные соком зрелости, обнажали крупные жемчужины зубов, поневоле на ум приходила мысль: «Достанется же кому-то такая красавица!»

— Пусть все знают, как я полюбила впервые и готова была на край света пойти за ним; но мой избранник взял меня за правую руку и попросил стать ему названной сестрой. А теперь я выхожу замуж вот за этого человека и буду ему хорошей женой.

Наступал момент, когда Латвина должна убежать из зала, чтобы выскочить в потрясающе красивом платье и растопить зазеленелое сердце Единственного вихревым, жарким цыганским танцем.

Я волновался; для меня было важно, чтобы этот танец Латвины оказался и впрямь таким, как я описал в романе. И вот раздвинулись шторы, в самый круг зала выплыла прекрасная моя цыганочка, дочь барона. Точно посреди вьюжной зимы за окнами внезапно зацвели яблони и черемухи!

Заплутавший праздник жизни наконец-то разыскал меня и захватил в свои объятия! Просто я устал от бесконечных съемок, нескончаемых проблем, бессонных ночей, и сам не зная того, все последние дни жил в ожидании его.

Черное платье на Латвине, расшитое золотом и серебристым бисером, сверкало; золотое монисто на ее очаровательной шейке отбрасывало сотни тонких лучиков света!

— Для тебя, Единственный! — выкрикнула она и, клянусь богом, в тот миг я уверовал, что он и впрямь для меня, этот чудный танец; вероятно, я его долго ждал в своей жизни!

Цыгане вмах ударили по струнам, зазвенели в крепких руках горячие бубны и зал взорвался от буйства звуков.

Тот танец Латвины отпущен был Господом Единственному в кредит, как дар!

Потом в его жизнь придет страшное горе. Но это будет позже, позже, а пока все веселились. Цыгане, игравшие гостей, пили настоящую водку и от души хлопали в ладоши.

Великолепный настрой группы поднимался и, глядя на «да-тых», пляшущих Бориса Хмельницкого и моего друга Николая, настоящего цыганского барона, невозможно было сдерживать улыбку.

* * *

Итак, закончилась веселая свадьба, и наши герои возвращаются в Москву.

Сцену «Проводы» делали на летном поле в аэропорту, и все ждали запропадившегося Бориса. Он вышел из шестисотого «Мерседеса» с видом победителя и пошел на группу; ребята потупили взоры. Актер оказался пьян.

Но, вопреки пословице «Факир был пьян и фокус не удался», отсняли и этот кусок!

Это был последний съемочный день Бориса. Я пригласил его в уютный ресторанчик на прощальный ужин и женщина-директор, увидев его, просто растаяла.

— Я столько лет была влюблена в вас, — призналась она Борису, — с тех пор, как вы сыграли Робин Гуда.

Борис ушел... и через десять минут вернулся с огромным букетом цветов. Он поклонился ей в ноги и протянул хризантемы. Потом они танцевали.

Это было трогательно и красиво!

Теперь появилась возможность работать с Евгенией, и мы быстро отсняли «Знакомство», «Первое свидание» и одну из самых дорогих мне сцен — «Исповедь Анжелики».

Эту мизансцену придумал Риф и она сработала в фильме.

Надо сказать, что съемки шли трудно; второй режиссер ушел в глубокий запой.

Сцену «Знакомство» нам любезно позволили снять в холле банка, где по сценарию на презентации знакомятся наши герои.

Холл гляделся скучным, блеклым, и Риф, чтобы скрасить его, попросил разноцветные шары.

Но где их взять? Рустам помчался в супермаркет, я рванул в другом направлении, и вспоминать это теперь, по прошествии времени, можно только со слезами на глазах. От стыда!

Потому что так мы снимаем кино. На фанатизме! Нет безукоризненной механики кинопроцесса.

Есть люди, которым надо ставить памятник, за голодные, недосыпные ночи, работу в лютую стужу и жару, за нищенскую зарплату. Оттого у нас продюсер и режиссер-постановщик бегают в поисках шаров, и оператор идет в кадр, потому что некого снимать, а гример становится актером — судьей.

Простите, дорогой читатель, за отступление. Я лишь хочу рассказать о днях, когда было крайне тяжело играть из-за скверного характера актрисы и как через нее я познал истину: взаимоотношения с актерами необходимо тщательно узаконивать в контракте.

Видно, Евгения и в жизни особа нервная.

Теперь, когда все это в воспоминаниях, я благодарен злой дамочке. Благодаря ей я набрался самообладания, без которого в кино смерть!

В картинной галерее Кастеева влюбленные любят изведениями искусств, и там Анжелика дарит любимому человеку свой серебряный нательный крестик: — Береги его, он будет хранить тебя! — просит она.

Евгения дергалась, походка ее была рваной, глаза лгали и такой она запечатлелась, потому что камеру не обманешь. Такой она позже предстанет и перед зрителем. И он ее не полюбит! Зритель станет сожалеть Единственному, полюбившему не добрую девушку, а красивую, стержовую кинозвезду, толкнувшую его к гибельному краю. Но до этого еще было далеко!

Отсняли неработающую карусель, которую пришлось крутить самому, и при этом, задыхаясь от напряжения, изображать на лице счастливую улыбку. Анжелика сидит на разноцветном слонике, карусель весело кружится, влюбленный Единственный догоняет любимую и тянет к ней руки. Отсняли!

Отсняли «Первое свидание» у фонтана, где Жалгыз впервые в жизни дарит женщине цветы, огромные розы, которые я после команды «СТОП!» с облегчением швырнул в ближайшую урну. Но сцена получилась красивой, трогательной, красные розы на фоне прозрачных, водяных струй, и наш проход с ней по аллее счастливых влюбленных тоже цеплял неведающего. А на самом деле мы шли и говорили друг другу гадости, сохраняя на лицах улыбки. Отсняли!

Отсняли сцену «Признание подруге о любви к Единственному». Евгения чудовищно врала в кадре о необъяснимой тяге к малознакомому человеку, и в тот миг я ненавидел ее! Я все на свете перепутал: роман, кино, собственную жизнь!

Перепутал себя с Единственным, Анжелику с Крюковой! Но по-другому я не смог бы играть и теперь я уверен, когда актеры на время съемок увлекаются друг другом — это на пользу кино!

А Единственный полюбил! Он полюбил так, как может влюбиться только человек, которому жизнь отпущена в «подарок».

Мы снимаем задушевную беседу Единственного с Анжеликой на кухне, и я чувствую, что не могу играть.

На столе лежат рассыпанные оранжевые апельсины, камера от них панорамой движется ко мне, и я должен смотреть на нее влюбленным взглядом, а не могу!

По мизансцене Анжелике необходимо достать из шкафа бутылку вина и произнести монолог:

— Это вино мне подарил в Париже один старый эмигрант. Он сказал мне, чтобы я открыла его, когда в моем доме будет дорогой гость.

Она проделывает все это, но движения ее лишены нежности, скорей, наполнены стервозностью, и когда она достала злополучную бутылку, в голосе звучала издевка:

— Открывай, дорогой гость!

Кадр, когда Анжелика зовет Единственного танцевать и он, всю жизнь просидевший в тюрьме, смущается в беспомощности, выбил меня из колеи, оттого что я и сам не мог вальсировать. При виде смеющейся Евгении над неумелыми движениями Жалгыз я испытал приступ бешенства.

Музыка, льющаяся из колонок, как бы переходит для Единственного в далекую мелодию детства, он кружится с раскинутыми руками и затем, точно волк, схвативший добычу, подхватив Анжелику, выходит из кадра. И вот когда она была у меня на руках, скажу Вам честно, я вспомнил Светлану Первую и ее оглушительный удар головой об косяк!

Эта ночь была одной из самых долгих и мучительных в моей жизни!

Коттедж, в котором мы работали, был уникален тем, что одни из комнат мы использовали как особняк дяди Саши, а другие как квартиру Анжелики. Актриса наутро улетала, и мы должны были закончить все ее сцены.

Евгения продолжала мотать жилы, и я чувствовал, что сорвусь. Я спустился вниз к машине. На сиденье лежала бутылка коньяка. Я хлестанул из горла. Огненный шар рухнул в преисподнюю желудка.

— Ну, держись, задавала московская!

Коньяк прибил ненужные клетки мозга, и на этом кураже мы отсняли «Плач Анжелики».

Ей приснился дурной сон, будто Единственного убили и она просит его бросить все и уехать за границу. Я, согласно мизансцене, успокаиваю Крюкову, и тут начинаю импровизировать, касаясь ее выпуклостей более, чем необходимо. Это подспудно я начал мстить.

С разбега «оттарабанили» кусок, где Единственный с Анжеликой собираются в гости, и Жалгыза вызывает Яша Тюрьма на разговор.

Зная, что вслед за этой сценой последует нападение Герасима — Епископосяна на Анжелику, и он, надругавшись, цинично зарежет ее, я не испытывал жалости, потому что ассоциировал героиню с Крюковой.

Но вдруг в коттедже погас свет, и наступила полная мгла. Пока электрики выясняли причину и устраняли ее, мы с Епископосяном принялись бороться на руках. Владимир в молодости играл за сборную Армении по волейболу и оказался крепким малым. Он легко заломил мою правую руку, и тогда я схватился с ним левой. Нашла коса на камень! Мы кряхтели около получаса, и вся группа болела за своего продюсера. Левая рука Володи рухнула на поверхность стола и по особняку разнесся торжествующий гул! И тут дали свет.

Пошли снимать сцену «Изнасилование Анжелики».

Дублершей была Сашенька. У нее было абсолютное сходство фигуры с Крюковой, и мы уговорили ее лечь через кресло. Рустам собственноручно задрал на ней платье, оголяя красивые длинные ноги, похоже, этот процесс доставлял ему удовольствие.

Епископосян — Герасим, стоя позади дублерши, должен был имитировать изнасилование. Группа просто умирала от смеха, глядя на кислое лицо Володи, а шел уже пятый дубль, и всему мешала залетавшая в кадр муха. Она садилась на длинный нос Володи, и он безуспешно ее сдувал.

— Убейте ее, — вскричал актер, и группа кинулась за бедным насекомым.

— Так надо мной еще никто не издевался, — орал Володя, — Сашенька может подумать, что я импотент!

После шестого дубля Рустам произнес «СНЯТО!», но актер вскричал: — Хочу еще!

Та ночь была нескончаема; брезжил рассвет, когда мы доснимали «Смерть Анжелики» и «мертвая» Крюкова терпеливо лежала с закрытыми глазами в золотистом платье, взятом на прокат, и группа тихо смеялась:

— Видите, пригодилось для ее смерти!

Все дни Евгения вела себя скверно. Один вид ее вызывал у меня зубную боль. Но в момент, когда лежала со скрещенными на груди руками, она была по-настоящему прекрасна! Я подумал: с душой улетела на небо и ее злоба!

Она уехала в аэропорт, забыв попрощаться!

Мои романная и киношная Анжелики оказались совершенно разными людьми. Литературная — родись она в эпоху декабристов, была бы достойна стать суженной одного из них.

Киношная — плоть от плоти дитя сегодняшнего мира.

* * *

Неумолимый сценарий все ближе приближал Единственного к развязке. Вернувшийся в Москву Жалгыз начинает выяснять историю бриллианта «Черный принц».

Еще на взлетной полосе, перед его отлетом, барон рассказал ему о камне и умолял о помощи. Единственный назначает стрелку цыгану по имени Саша Успенский.

Эту сцену мы решили снимать в недостроенном здании велотрека и обратились в акимат за разрешением.

Там, посреди железа и бетона, должна была произойти стрельба. Встал вопрос об оружии и тут... нам отказали в управлении внутренних дел.

Спасение утопающих – дело рук...!

Я позвонил другу в Н-ский город. Через пару дней в студию заявился отставной полковник, под «шафе», с увесистой сумкой в руках.

– Фу! всю ночь глаз не смыкал, чтобы не стащили. Без документов. Покрестились и рискнули! – произнес он устало. Сумка была полна «стволов».

– Спасибо! – произнес я. – Вас отвезут в гостиницу, отдохайте, а оружие можете оставить.

– Ни в коем случае! – заявил он. – Я привезу его на съемки.

На том и порешили. На следующее утро я честно выложил все проблемы группе. Но ребята, прошедшие различные перипетии на нашей картине, не дрогнули.

Тридцать человек проникли в здание велотрека по одному.

На наше счастье в нем не оказалось даже «бомжей», и мы стали активно репетировать. Все шло, как по маслу, и незаметно летело время.

На роль Саши Успенского я взял человека, не имеющего отношения ни к цыганам, ни к криминалу, вдобавок доброго и бесхитростного. Но природа на удивление наградила его хитроватым лицом.

Мы подобрали ему сопровождение из крепких парней и навесили на них автоматы. Портреты современных бандитов казались срисованными с этих ребят.

Согласно сценарию Единственный с Меченым приезжают на стрелку и в здании велотрека разворачивается кровавая драма.

Начинается перестрелка, в результате которой Меченый убивает людей Успенского, а сам Саша попадает в руки Единственного.

– Камень, Саша, придется вернуть, – хладнокровно произносит вор, приставив пистолет к голове хитрого цыгана.

– Будет, будет камень... – клянется Успенский.

В тот момент у актера было такое перепуганное выражение лица, что я едва сдерживал себя, чтобы не рассмеяться.

К концу дня успели отснять все, перестрелка удалась на славу. Я поблагодарил группу за работу, и они поодиночке стали покидать велотрек.

Тут выяснилось, что нет полковника, и я встревожился за оружие. Но сумка мирно валялась недалеко от приборов.

Убедившись, что ничего не забыли, пошли и мы с Рифом. В руках у меня был опасный груз. Не успели спуститься из здания и вздохнуть, как к нам с включенной мигалкой подлетел милицейский «УАЗ».

— Кто такие? Предъявите документы! — потребовал один из людей в форме, косясь на черную сумку. Трое остальных не сводили с нас наставленных автоматов.

По телу заструился липкий пот. Мысли блохами заскакали в разные стороны.

Уставший Риф равнодушно курил сигарету, и, казалось, не понимал нависшей опасности.

— Мы киношники, собираемся снимать на этом фоне и вот приехали пройтись, оглядеться, — произносил я одеревеневшим языком, и чувствовал, «менты» не верят ни одному слову.

— Это оператор, — выговорил я в момент, когда Риф достал из кармана удостоверение и протянул его крайнему.

Бдительный «мент» вертел удостоверение и вдруг другой, вероятно тонкий ценитель кино, спросил:

— Что за фильм собираетесь снимать?

— Комедию! — отчего-то выпалил я.

— А — а — а! Вы ничего не слышали? Нам поступил сигнал, что тут кто-то стреляет.

— Да нет, кто здесь будет стрелять, посреди города. Дети с хлопучками бегали...

— Ну ладно, потом посмотрим ваше кино, кстати, скоро оно выйдет?

— Еще не сняли!

— А — а — а!

Когда мы с Рифкатом уходили прочь, я спросил у него:

— Испугался?

— Чего?

— Ну у меня же в руках сумка с оружием.

— А я и не знал! — равнодушно протянул Риф.

Спустя час объявился «датый» полковник.

— Сумку не забыли? — спросил он.

* * *

Позже мы снимем подлого банкира; Саша Успенский расскажет ему, что Единственный требует вернуть камень и тогда Паук произнесет сакраментальную фразу:

— И на старуху есть проруха, найдем управу и на этого вновь испеченного вора.

Не желавший расставаться с бриллиантом, он прослушивает разговор влюбленных и записывает на диктофон.

Мы снимали невероятно быстро и группы, работавшие на других картинах, поражались.

Наша история разворачивалась, подобно клубку; Паук предъявил запись дяде Саше и Якову, и старый законник отдал приказ убить возлюбленную Единственного.

Уже в западне, устроенной хитрым цыганом, от рук Герасима погиб бывший зэк Меченый, и Жалгыз, потерявший любимую женщину, начинает люто мстить.

Наш герой безжалостно пристреливает у входной двери охранника, и, бесшумно проникнув в бильярдную, убивает второго.

И в который раз в сцене «Казнь Паука» поразил Доттер. В мизансцене Единственный застаёт врасплох криминального банкира, корпевшего над бумагами, и выстреливает в телохранителя. Далее обезумевший от страха воротила, рухнув на колени, выдает Герасима — Епископосяна, и вор с презрением бьет негодяя рукояткой пистолета.

Наступил момент скармливать Паука привезенным отовсюду любимым тварям, ядовитым насекомым. Пока готовили кадр, я вышел покурить и, вернувшись, едва увернулся от прыгнувшего на меня чудовищных размеров гада. Доттер решил проверить достоверность пластмассовых тварей и чуть не уложил меня с инфарктом.

Если в случае с Крюковой я казнюсь за поспешный и неправильный выбор, то с актером, игравшим Паука, залепил в самое яблочко, он играл достоверно.

Герасима вор находит в доме Якова. Происходит банальная перестрелка и сражение на мечах, в результате Жалгыз убивает подонка. Тут я хочу сказать, что эпизоды отдают штампом;

все же, делая кино, в решении мизансцены необходимо искать свое. Я же увлекся матричным боевиком.

Однако! Вынырнувший из бассейна Епископосян, куда он рхнул, пронзенный мной, неожиданно протянул руку.

— Что с тобой, Володя? — спросил я удивленно.

— Вай, вай, шени чериме! Я сэгодня в кино убит в сорок дэвятый раз! — заявил он.

Через год он позвонит мне и скажет, что убит в пятидесятый.

У него была юбилейная цифра и титул главного трупа российскийского кино!

Сразив Герасима — убийцу Анжелики, Единственный услышал шум подъехавшей машины и скрылся в тени портика.

В помещение бассейна, негромко ступая, вошел Яков и, увидев мертвого киллера, принялся звонить по сотовому телефону.

— Дядя Саша, он убил Паука и всех его людей, а теперь «завалил» Герасима.

Лицо Якова было бледным, с темными крутами под глазами, щеки его подрагивали.

— Да, я посылаю отряд, — произнес он, и вдруг почти звериным чутьем уловил на себе пристальный взгляд.

Яков стал медленно поворачиваться и увидел стоявшего напротив Единственного, с наведенным пистолетом.

— Ты хочешь убить меня? Ну, стреляй! Ты поступил бы так же! Ты зашел слишком далеко. Она уговаривала тебя уехать, и ты был согласен с ней. Этим она подписала себе приговор, и ты должен понять, что это бизнес, бизнес!

— Яков, Яков, как мог ты так поступить, сам испытал эту боль, когда надругались и убили твою Яну, — укоризненно произнес Единственный. — Я не убью тебя без решения сходки. Когда-нибудь тебя убьют такие, как и ты, для которых существует один бог — деньги!

Надо сказать, что эта сцена нравится мне и сейчас, потому что в ней есть жизнь.

Я долго размышлял над тем, как ее закончить и решил, что Яков, испытывая вину перед другом, должен рассказать ему об отце.

Единственный с презрением отбрасывает пистолет и уходит прочь от человека, которого считал другом. Сердце Жалгыза разбито. Вдруг Яков догоняет его и хватается за плечи.

— Тебе надо уехать и скрыться! Ты объявил войну целому клану!

Единственный молча отшвыривает руку Якова с плеча. Два вора стоят напротив друг друга, и один из них прячет взгляд.

— У тебя есть отец! — произносит Яков, и глаза Жалгыза становятся огромными, вот-вот выпадут из орбит.

— Что ты сказал?

— Да! У тебя есть отец и он жив!

Это была моя последняя сцена с Яковым, и оставалось снять с Суховым эпизод предательства.

Яков предаст Жалгыза дяде Саше, рассказав ему про место, где скрывается вор Единственный. Вместо Армена Борисовича будет дублер, и когда появится Гафт, в фильме это будет прочитываться. Мы с Эдвардом выкручивались на монтаже, как могли, и все же ляп остался.

В романе мне было тягостно, друзья мои, чувствовать надвигающееся предательство Якова, и видно к моменту съемок, что я уже свыкся с этой мыслью.

В нашей жизни теперь зачастую предают друзья, и не остается никого рядом с тобой. Мир доллара жесток и суров. Хотя страшно привыкать к мысли, что тебя могут продать и с этим жить. Но разве есть среди нас праведники и можем ли мы определить меру предательства?

Был у меня друг. Он отбывал срок в одной из колоний строгого режима. Я отправлял ему бандероли и длинные письма, чтобы поддержать его дух.

Год за годом. Но однажды силы друга иссякли, и стремления к воле не осталось в нем. Я чувствовал, как неотвратимо он приближается к краю. Но как я мог помочь ему? И тогда решил на безумный поступок. Ночью, дрожа от страха, я пробрался на территорию рабочего объекта, который строили заключенные.

На ночь с вышек снималась охрана, и только внутри объекта курсировали патрули с собаками. Я шел на четвереньках, вился змеей среди сухого камыша, легким ветром скользил

между зданий. Я нес на себе рюкзак с провизией и теплыми вещами для друга. В пустой комнате на четвертом этаже строящегося дома я зарылся среди старых, заскорузлых лагерных бушлатов. Утром длинные скотовозы привезли заключенных. Колонной их гнали по «конверту» из колючей проволоки. Свиные псы разрывались от лая, роняя пену.

На вышках щелкнули затворами автоматов часовые. «Пятерки» за «пятерками» ээки втягивались в рабочую зону. Когда мы встретились с другом, в его глазах горел огонь восхищения, радости и вспыхнувшей надежды, что еще не все потеряно. Счастью друга не было предела. Мы с ним пили крепкий чай и говорили за жизнь. Он понял, что нужен, раз во имя него человек пошел на такой риск. День пролетел, словно час, и наступило время прощаться. Но это был предпраздничный день и мы не знали, что с вышек не уберут часовых. Уже гудел ревун, начинался «съем». Мы попрощались. Сквозь забрызганное бетоном стекло я наблюдал, как мой друг встал в строй. Слышались голоса команд, начиналась переключка. Неожиданно возникла паника. Офицеры охраны обнаружили, что не хватает заключенного. Переключка началась заново. Солдаты с овчарками бросились прочесывать стройку. Сердце мое ужаснулось! Теперь они найдут меня!!! С высоты хорошо был виден строй. Я видел, как друг в тревоге поглядывает вверх, туда, где оставался я. Я любил его трепетно, в тот миг. Но вот из-под бетономешалки солдаты пинками выгнали хилого зэка. Он, сгорбившись, телепался под ударами, на ходу размазывая по щекам слезы. Вновь объявили переключку. На этот раз количество заключенных сошлось. Колонну погнали сквозь железные ворота в «конверт» и стали грузить в скотовозы. Прошло еще два часа. Кругом все утихло, лишь на вышках продолжали скрипеть разошедшимися досками часовые.

Я ждал. Сердце мое судорожно прыгало в груди от волнения. Наконец в темном небе из-за облаков выглянула луна и залила все вокруг белым светом. Зловещие домики вышек с одинокими фигурами часовых виделись причудливой графикой. Дождавшись, когда луна спрячется, я прокрался вниз и бесшумно пополз. Наверное, именно так ползла Зоя Космодемьянская

к злополучной конюшне. Распоров кисть об стекло, я не почувствовал боли. Долго я полз и, наконец, достиг ворот. Стремительной кошкой взлетел на гребень и явственно услышал лязг затвора.

– СТОЙ! СТРЕЛЯТЬ БУДУ!

Но мое тело уже падало в пустоту. Когда тишину ночи разорвала автоматная очередь, я бежал, не разбирая дороги. Лермонтовский Гарун мог бы позавидовать мне. Машина ждала в условленном месте.

Прошли годы. Друг мой давно освободился. Он ходил справный и хорошо одетый. Была изумительной красоты зимняя ночь. С неба невесомым пухом опускались искрящиеся снежинки и ложились на наши плечи. Мы с другом шли молча. Завтрашний день был страшен для меня.

– Я за тебя отдам последнюю каплю крови. ! – **вымолвил** друг и запнулся на полуслове. Я посмотрел ему в глаза и ответил жестко: – Завтра ты от меня отречешься!

И ушел! Я знал, что так оно и произойдет. Бывает в жизни Великое предчувствие! Назавтра, когда для меня **встал** вопрос жизни или смерти, **мой** друг отрекся от меня. **Мое сердце** разрывалось от невероятной боли!!!

Но что такое предательство? Кто может ответить на этот вопрос?

Я думаю, что все относительно! Разве может человек, не предававший друзей, считать себя честным и порядочным, если, скажем, он изменяет жене?

Вправе ли говорить о приличии дающий взятки, даже если он это делает во имя благого дела? Это ли не предательство? Все мы грешны и разница, вероятно, в том, в чем именно? Но вот Яков предал и мучается от этого. Дядя Саша что-то пообещал ему и он, поколебавшись, выдал станцию, где укрылся Жалгыз. Мы ненавидим Якова и презираем его. И пока люди умеют разделять меры предательства, до тех пор и будет множиться род людской.

Но вот поезд с нашим героем остановился на малолюдной станции с роковым названием Канды-агаш, и Единственный, махнув проводнику, сходит с него.

Мне очень нравится этот эпизод в картине, и я рад, что в монтаже мы с Эдуардом Кульбаевым точно нашли ему место. Я коснулся личности Эдварда и мне хочется сказать несколько теплых слов об этом незаурядном человеке. Потрясающе талантливый человек, до мозга костей киношник, невостребованный нашим кинопроизводством. Когда такие люди остаются не у дел, тогда и ожидать настоящего кино не приходится. Мы проделали с Эдуардом работу, которую не смог бы проделать никто другой, и нам удалось перемонтировать картину из десяти серий в девять. Но главное, при сгоне нам испортили изображение, оно «закипело» и мы восстанавливали его из дубляжного материала, буквально накладывая кадр на кадр. Это был титанический труд!

Но это все будет позже, а пока вытянутый змеей поезд медленно трогается под нежные, грустные переборы домбры, и на обратной точке на стволе полусгнившего карагача понуро сидит одинокий старик.

О чем думает и размышляет белобородый аксакал? И что он чертит на земле тонким прутиком?

Старик Каратас видит упавшую на рисунок тень и поднимает голову. Перед ним стоит мужчина в бежевом костюме, с сумкой в руках:

— Аксакал, я с поезда. Не подскажете ли, где мне снять комнату?

И старик Каратас после недолгого молчания и раздумий произносит:

— Если хочешь, поживи у меня. Городского комфорта нет, но комната найдется.

Так вор в законе Единственный селится в доме у своего отца и еще пройдет немало времени, пока они узнают друг о друге все.

Но пока Единственный располагается и осматривается в доме, внезапно вошедший старик замечает наколки на руках квартиранта. Ничего не произносит Каратас, лишь молча вздыхает и проходит дальше.

Каждый день старик Каратас устраивается на свое любимое место, под густым куполом листьев, и, сжимая в руках домбру, тихонько наигрывает.

Единственный подходит к нему и садится рядом; они не говорят, всяк раздумывает о своем.

Вот уже минуло девяносто лет и много воды утекло в реках; пробуранило девяносто зим и столько же отшумело весен; не выветриваются из памяти старика времена, когда степь рождалась от пуль, и молниями сверкали шашки.

Старик Каратас вспоминал тот роковой бой, в котором зарубил беременную женщину, и всю последующую жизнь, ставшую метастазой боли из-за ее проклятья. Она была враг, и время было такое: если не ты, тебя самого!

Они тогда наблюдали в бинокль, укрывшись за высоким барханом, и командир скомандовал пленных не брать, что революция все спишет.

— Ну что, Каратас, возьмем городок? — спросил командир.

— Возьмем, командир, — ответил он тогда.

Эти слова командира еще долго гуляли среди группы и ребята при случае шутили: — Ну что, Каратас, возьмем городок?

* * *

В Семее есть район Жоламан. С давних пор от него уходила дорога в сторону Усть-Каменогорской крепости и лихие жоламановские джигиты темными кромешными ночами промышляли на этом тракте. С тех самых пор и стоят глинобитные домики. Архитектура кривых улочек и сейчас неподвластна пониманию человеку, впервые здесь очутившемуся.

Мне рассказывали, что если зайти во двор любого из этих домиков, можно выбраться на другом краю Жоламана. Во все времена отсюда выходили блатные и голодные, отчаянные башибузуки. В советское время выкормыши этих змеистых закоулков потрошили кожзавод и мясокомбинат, отстреливаясь от преследующих сотрудников милиции. А потом уходили в лагеря с долгими сроками и освобождались беззубыми, с наполовину выплюнутыми легкими. И в начале девяностых отсюда взяли начало первые рэкетеры; под покровом ночи нападали на длинномеры со спиртом, идущие из Китая, и в одночасье богатели, пересаживаясь с драндулетов на «Мерседесы».

Он всегда давал Семейю отчаянных налетчиков и, вникнув в историю этого закутка, я понял, что знаменитым Крещатику и Дерibasовской не сравниться с Жоламаном — бандитским краем.

Здесь мы и решили отснять городок, который берут красноармейцы. Для массовой нам выделили батальон милиции; часть мы переодели в красных, а оставшихся — в басмачей.

Интересно было наблюдать картину, как «менты» делились на тех и этих.

Закипел яростный бой на улочках Жоламана и местные жители, собравшись на крышах домов, болели за басмачей. В тот момент мне было не до выяснений их приоритетов и только со временем, припомнив те дни, я поразился их выбору!

Пока закончились съемки, свечерело, и автобус отправился развозить людей.

Он уехал и пропал.

— Дойдем до города и сядем на такси! — предложил я.

— Каратас же в игровом костюме, — напомнил Рустам.

— Но автобус мог сломаться и неизвестно когда вернется, — выдвинул я аргумент.

— Ну ладно, пошли, Каратас, — позвал Рус.

Мы двигались по городу, и люди глазели на необычного прохожего.

— Ты иди впереди нас! — сказал Рустам.

В гимнастерке и галифе, с орденом Красного Знамени на груди, в буденовке с матерчатой звездой, перепоясанный шашкой и маузером, актер шел, насвистывая песенку «Смело, товарищи, в ногу!»

А потом выяснилось, что на такси нет денег, и так мы потащились через весь город.

После того боя вернется Каратас в свой аул, и его станут встречать как героя. Этот эпизодик мы отсняли в том самом ауле, где зимой снимали сцену «Аульчане». Тогда, зимой, мы успели снять только встречу Каратаса с родителями и вот теперь снимали сам приезд. Сделали это буквально на лету.

Автобус с группой въехал в тихий безмятежный аул и, спустя некоторое время, он стал напоминать развороченный улей. Администрация седлала чужих коней, второй режиссер собирал массовку, костюмеры наряжали сбитых с толку аульчан, и, глядя на все это, мы с Рустамом тихонько посмеивались.

* * *

Эти снятые летом куски относятся к периоду жизни Каратаса, после которых пойдут его лагеря, уже отснятые в зимнюю экспедицию.

Наш читатель знает, что бежавший из лагеря Каратас в пути теряет погибшего командира, и с Тузом попадает в засаду. Он знает, что они, убив старшину и двух солдат, а также предателя Бурята, выбираются из западни.

И вот летом, в окрестностях станции Отар, мы приступили к съемкам сцен «Встреча с Жулдыз» и «Роды».

Группа прибыла в крохотный аульчик, сгуртованный у бегущих вдаль рельс, и рассеялась в частных домах.

Я хочу выразить слова огромной благодарности аульчанам, бескорыстно приютившим нас и дарившим свое уважение. Дни, проведенные в этом ауле, запомнились на всю жизнь и вкус неповторимого хлеба остался на губах.

Незабываемым оказалось и требование Рифа найти дерево, которое бы плакало.

— Дерево, дерево мне надо, — кричал он.

— Да вон сколько их вокруг, снимай ради бога, — недоумевал я.

— Такое не пойдет! — продолжал капризничать он на ломаном русском.

— Почему? — никак не мог понять я.

— Надо, чтобы оно плакало!

— Где же я тебе найду плачущее дерево! — причудам Рифа не было конца. Но позже до меня дошло, и мы сняли поникшую над водой одинокую иву.

Кое-как актриса — Жулдуз отыграла «Встречу с Каратасом» и «Роды», при этом кричала так неестественно, будто рожала маленького динозавра. Женщины из группы, прошедшие это, возмущались и бурчали, отводя взгляд.

Часть этой сцены на тот момент мы сняли в приюте, и нам сыграл крохотный, замечательный малыш. Он оказался чрезмерно спокойным и в нужный момент не плакал. Я попытался заставить и тут же заслужил ярлык садиста.

— Как вы можете обижать такую крошку?

— Но он только что родился и должен заплакать! — слабо отбивался я.

И вот малыш зарыдал.

— Дай ему грудь, — требовали женщины. Актриса жеманилась и делала вид, что стесняется.

Пришлось расстегивать платье и вытаскивать ее перси.

— Это я родился и будь добра накормить меня, ведь ты моя мать! — сказал я ей.

Итак, Единственный появился на свет, чтобы отмерить свой начертанный страданиями путь, и все в шутку поздравляли меня с днем рождения.

— Знал бы, что ждет впереди, ни за что бы не родился! — отшучивался я.

После родов Жулдыз умирает и группа с облегчением вздыхает. Это была лучшая сцена актрисы; мертвую, ее заворачивает Каратас в старый чапан, и ей нужно было лишь не двигаться. Она сыграла это потрясающе!

Охваченный горем Каратас выжигает на плече крошки родовую тамгу и хоронит любимую.

В предгорьях мы нашли санаторий для туберкулезников и отсняли сцену, где отец подбрасывает сына в Дом малюток.

Трогательно, жизненно! Пожарная машина потрудилась не зря. Под проливным ливнем он крадется вдоль стены и кладет сына у дверей. На лице его гримаса боли и слезы, перемешиваясь с дождем, стекают за ворот. Он снимает с себя тумар и надевает на шею крошки, вложив в руку клочок бумаги с именем Жалгыз — что значит Единственный.

По увядшей аллее, меж высоких тополей, уходил отец, обрекая сына на сиротскую долю.

В романах на подмосковных полях клокочет страшная битва. Каратас идет на войну и принимает бой в числе народного ополчения.

Этот самый бой мы станем снимать на военном полигоне в Капчагае.

* * *

История началась с того, что я отправил Доттера в часть для декорирования современных танков под немецкие.

— Серега, — сказал я, — у тебя неделя и ты должен сделать так, чтобы их нельзя было отличить!

- Понял! – ответил Доттер.
- Тебе дадут помощников из числа солдат.
- Хорошо, не беспокойтесь.

Он уехал. Я с большим нетерпением ждал эти съемки. Меня волновала тема прошедшей войны, и я страстно читал литературу, связанную с ней. Я раздумывал над построением мизансцены и отчего-то не мог определить накал боя.

Но вот роли распределены, костюмы подобраны, и мы выезжаем на полигон.

Стояла морозная погода. По приезду в часть мы поразились тому, что в казарме, выделенной группе на ночлег, очень низкая температура.

Но киношники – народ бывалый, и кое-кто раздобыл себе второе одеяло. Меня с Рустамом пригласили в гости офицеры.

Их собралось около десятка, и завязалась неторопливая беседа. Говорили о кино, службе и женщинах. Эти майоры, подполковники размышляли строго и честно. Застолье становилось теплым и полезным для всех. Незаметно протекло время, и опомнились, когда ночь перевалила за вторую половину.

Мы отправились спать. Навстречу, подозрительно качаясь из стороны в сторону, шел Доттер.

- Танки готовы, Серега? – спросил Рустам.
- Обижаете! Все готово к бою!
- Покажешь свою работу, – я направился впереди по едва проглядывавшейся в сугробе тропинке.

В темных ангарах мы не встретили ни единой души, хотя Сергей клятвенно заверял, что работа кипит и к утру все будет закончено.

Танки выпирали из полумрака в своей современной броне, и от этой картины мороз пробежал по коже.

- Вы не переживайте... – начал было Доттер, и тут я не удержался, да так, что он выплюнул остатки воздуха из легких:
- Через два часа будут готовы!

Подремав в холодном помещении тройку часов, я поднял группу. После короткого завтрака в грязной столовой мы отправились на полигон.

На площадке группа начинает работать, а мы с Рустамом направляемся к старшему офицеру на рекогносцировку.

Постепенно рассветает и слышится тяжелый гул моторов. Это идут танки и бронемашины.

Подъехали саперы: «старлей» и два солдата. Подошел грузовик с массовой — немецкими солдатами. Другой, затянутый брезентовым тентом, вздымая снежную пыль, промчался вдоль линии окопов и лихо подкатил к полковничьему «УАЗу».

Он был набит солдатиками, которым предназначалось играть советских бойцов.

Вдалеке показались танки, и вот тут мое сердце задергалось в груди. Зеленые камуфлированные щиты ДВП, прикрученные Доттером алюминиевой проволокой, отваливались на ходу и рассекречивали фальшь.

— Серега! — вскричал я.

— Я здесь!

— Почему с них отваливается броня?

— Не знаю, вчера хорошо держалась.

Кровь во мне бурлила и пенилась по жилам! Я был на грани срыва.

— Бегом! — только и вымолвил.

Полковник собрал командиров для постановки задачи.

На девственном снегу Рустам прутиком нарисовал расположение техники и схему ее продвижения после сигнала кра-
сной ракеты.

— Задача ясна? — грозно спросил полковник и добавил:

— Выполните так, как говорит режиссер, получите благодарность и знайте, что сам генерал держит все под контролем.

— Зимний день короткий и мы должны успеть отснять, — добавил Рустам.

Экипажи машин разошлись, и полковник занялся саперами.

День мчался галопом. Не успели оглянуться, как стрелки на часах стали показывать десять.

Так называемая «метелка», при помощи которой имитируются разрывы, от стрельбы танковых пушек никак не срабатывала, и полковник стал нервничать.

— Ну что там? — кричал он.

«Старлей», путаясь в длинной шинели, бежал к нему и оправдывался.

А костюмеры уже переодевали массовку, и вновь образовалась неразрешимая проблема.

Человек, который должен был привезти на площадку немецкие шинели и автоматы, где-то бесследно пропал. Его телефон молчал, а время неотвратимо текло.

— Что будем делать? — спросил я Рустама.

— Давай оденем их в курсантские шинели, они по цвету подходят.

Я кинулся к полковнику и сбивчиво объяснил ситуацию. Отправили машину на склад.

И тут обнаружилось, что вояки забыли привезти напалм.

Полковник нелицеприятно ругался и грозил:

— Быстро за напалмом!

Опять потянулось время в ожидании. Наконец, вернулась машина с шинелями, но без горючей смеси.

— Не нашли завсклада! — доложил прапорщик.

— Я вас сгною на гауптвахте! Даю еще час!

К обеду смесь привезли, и мы приготовились к атаке. Рустам выстрелил из ракетницы.

Грозные немецкие танки взревели и тронулись. Внутренности подобрались к груди и сжались при виде силы, катившейся в сторону окопов. И вдруг один из танков застыл на месте, другой поехал по кривой, уходя от линии атаки.

— Стоп! — кричал Рустам. — Надо догнать тот танк, он не туда едет.

Я взбираюсь на покрытое инеем дуло резервного танка и прошу водителя догнать сбившуюся с курса машину.

Танкист машет головой и рвет с места. Мы несемся по полю вдогонку, и вдруг — широченная траншея.

Тяжелая машина со всего маха проваливается в яму. По заиндевелому стволу в отчаянной попытке удержаться я лечу вниз головой, под широченные стальные гусеницы. Спасает раструб дульного тормоза. Я цепляюсь за него руками и в этот момент танк выбирается из траншеи. Дуло задирается, и меня уносит к башне.

Танкист и не думает останавливаться. Он мчится, и мы настигаем цель.

Лишь только машина встает, как я сую кулак в открывшийся люк механика. Он вытаращивает глаза и пытается возмутиться. Но, увидев новый замах моей руки, стремительно прячется в люке.

Когда я спросил у водителя нагнанной машины, почему он поехал не в ту сторону, последний объяснил, что хотел атаковать с фланга.

— Мать-перемать, ты что, на учениях, что ли? Какой фланг, когда надо ехать на камеру!

— А — а — а — а — а! — протянул танкист, — я хотел как лучше.

Полковник вновь собрал командиров и взбучил их по первое число.

— Как увидите ракету, атакуйте и начинайте стрелять из пушек, пулеметов. Автомашины выходят на рубеж, и солдаты выпрыгивают на ходу. Сходу разворачиваются в цепь и бегут в направлении линии обороны противника. Все ясно?

— Так точно!

Снимаем общий план. Сигнал к атаке. Пылает напалм. Армада бронетехники движется в направлении окопов. Вдруг один из танков крутится на месте. Саперы тянут метелку. Раздаются взрывы. К небу поднимаются черные столбы гари. Летят мерзлые комья земли. У другого танка почему-то молчит пулемет. Рывкает пушка. Броневи́к с немецкими солдатами встает. Он не доезжает до отметины. Из кузова, точно горох, сыпятся черные фигурки. И лишь третий танк, напоминая гигантскую вошь, ползет по белому снегу к линии обороны.

— Стоп! — кричит Рустам. — Снято!

— Было? — спрашиваю я.

— Было, все равно они лучше не сделают.

— А как же, что первый танк остановился? — задаю я вопрос Рустаму.

— Это его подбили! — невозмутимо отвечает Рустам.

— Ты почему остановился? — спрашивает полковник водителя первого танка.

— У меня солярка кончилась, — рапортует танкист.

— А у тебя почему пулемет не стрелял?

— Его заклинило, господин полковник.

— А твоя пушка отчего молчала?

— Забыл получить снаряды на складе, — полушепотом отвечает командир.

— Вы почему бьете моих подчиненных, господин продюсер? — вдруг орет полковник, — всех, всех на гауптвахту! А если война? Снаряды заклинило, пулемет забыл... бензин у него кончился!

— Солярка, господин полковник...

— Какая разница, что у тебя кончилось, ты должен воевать, даже если у тебя остановилось сердце. Понял?

— Так точно! — лицо подчиненного было полно недоумения!

Вот так закончатся эти веселые съемки, но они будут сняты зимой, а тогда на дворе еще звенело лето, а впереди нас ожидала работа с настоящим мастером, Досханом Жолжаксыновым, игравшим пожилого и старого Каратаса.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРАТАСА ИЗ ЛАГЕРЯ

В жизни моего героя Каратаса был сложный период, где он, в пятьдесят третьем году освободившись по амнистии Берия, возвращается на станцию Копал в поисках сына. С этого момента и до конца картины Каратаса играет Досхан Жолжаксынов.

Версту за верстой отмахивает наш герой по пыльным монгольским дорогам. Он едет на телеге с сердобольным мальчиком, в переполненном вагоне, в компании возвращающихся из заключения уголовников.

Нам с трудом удалось разыскать старый облупленный вагон и нагнать в него массовку. Я рисовал на телах актеров-уголовников татуировки тех времен, и они получались страшными и похожими на истину...

По сценарию Каратас сталкивается с беспределом в вагоне, и вступает за честь юной девушки.

Уголовники играют в карты, лапают женщин, нагоняя страх на пассажиров и затягивают в свой куток беззащитную девчонку.

Обнаженный по пояс, татуированный зэк подмял ее под себя и, несмотря на отчаянное сопротивление, срывает с нее одежду. В это время в кутке появляется Каратас.

– Отпусти девчонку, – требует он.

– Очумел от свободы, вражина народная? – возмущается блатюк.

Каратас хватается уголовника за патлы:

– Еще слово вякнешь, я тебе кадык вырву!

Он протягивает руку девчонке и уводит ее с собой. Пораженные уголовники остаются сидеть с открытыми ртами.

Досеке играл органично, и не было никаких сомнений в искренности его поступка.

* * *

Той же самой аллеей возвращался Каратас, словно и не было лет, вырванных из жизни точно кусок мяса, и единственное, о чем молил он Всевышнего: найти сына Жалгыза.

Сцену «Кабинет директора» снимали поздно вечером, как всегда, возникли непредвиденные проблемы. Каратас входит в кабинет директора Дома малюток и начинает сбивчиво говорить:

– Я ищу своего сына, Жалгыза. Я оставил его здесь в сорок втором году, а сам ушел на фронт, потом я снова сидел и вот теперь приехал, чтобы разыскать его.

Директор беспомощно смотрит на старенькую нянечку. Потрясающая актриса Нельская, игравшая ее, машет головой и разводит руками. Актриса Паукова (директор) просит Каратаса подождать на улице и дать им время порыться в архивах.

На следующий день мы стали снимать продолжение этой неразрывной на экране сцены, и группу потрясла актерская игра Досхана Жолжаксынова.

Он вышел на крыльцо и скрючился на порожке, точно одинокий сирий воробышек. Он сидел, сжимая котомку, и мне было важно, как он перенесет известие, что следов сына нет.

Когда оператор переставил камеру и режиссер дал команду: – НАЧАЛИ! – на пороге появились нянечка с директором.

– Прошло столько лет, документы затерялись, и мы ничего не знаем о вашем сыне...

Бедный Каратас! Весь съежился, будто его били палками, плечи его затряслись, и, припав к холодной стене, он зарыдал

так горько, что, не выдержав горя, упавшего на его плечи, захлюпала вся группа, стоявшая за камерой!

Да, так это было, дорогие читатели! И я в тот самый миг, забыв про то, что он актер, полюбил этого человека и как брошенный его сын, простил своего отца, видя, как он плачет!

Горы стояли суровые, в дымке, как и много лет назад, когда они прятались со своей любимой Жулдуз в пещере, и вот, спустя десятилетие, он вернулся к ее одинокой, полуразрушенной могиле.

Он сидел, подложив под себя ноги и, устремив взгляд на мазар, читал молитву.

— Я пришел к тебе, моя звездочка, моя Жулдуз. Я пришел к тебе, преодолев далекий путь, пройдя невысказанные для сына человеческого страдания и лишения, и молю тебя о прощении. Я потерял нашего сына, моя Жулдуз. Никто не может мне помочь отыскать хоть какие-то его следы и я в полном отчаянии!

Каратас бессмысленно шагал по пустынной улице станции, как его окликнул наряд милиции.

— Эй, стой! Предъяви документы!

Каратас достал из кармана «волчий билет» и протянул бдительным стражам.

Долго, точно по буквам, читали бумажку милиционеры (мои водители) и заявили: — Пройдемте с нами!

Они вели, держа его под руки, и наткнулись на директора Дома малюток.

— Скажите им, что Вы меня знаете, — взмолился Каратас, взывая к ней.

Мгновенно оценив ситуацию, молодая женщина вымолвила: — Этот человек — наш работник.

«Стражи» оторопели при виде боевой медали на груди женщины, и тут же возвратили бедолаге справку об амнистии.

— Спасибо вам, — поблагодарил Каратас. А еще через день он пилил дрова, чинил забор, косил сено, латал обветшалую крышу Дома малюток. Он остался в надежде, что отыщутся следы сына, и еще, больно по сердцу пришлась ему молодая красивая директор.

Мне очень понравилась актерская игра няни — Нельской, крохотная роль, но как она ее сделала! Это был прекрасный дуэт Досеке и старой заслуженной актрисы.

Каратас пилит дрова, как к нему подходит нянечка:

— Вот, выпей молочка, сынок, устал, небось?

И такая трогательная человеческая забота звучала в голосе актрисы, что казалось — вот оно, великое русское милосердие! Вот доброта тех послевоенных женщин, выстрадавших ее!

Каратас молча взял ковш из рук нянечки и приложился к нему так, что белая струйка потекла по подбородку. Может, вместе с этим непорочным напитком в него вливалась сама чистота, в которой он так нуждался?

— Тот, что тебя пнул, он завхоз, бойся его, сынок, ой бойся! — предупредила сердобольная няня бедолагу.

Здоровенный краснорожий завхоз часом раньше пнул его по больной ноге: — Чаво расселся, давай работай, а то сдам туда, откудава пришел! — столько ненависти было в голосе краснорожего.

— Где же вы были, когда мы рвали глотки в гражданскую, когда зубами вгрызались в землю под Москвой, когда с винтовкой на танк, один на один? — так горько размышлял Каратас, поднимая ведра.

Вскоре Каратас и Валентина гуляли по берегу грохочущей реки, и она доверила ему горькую исповедь своей жизни.

— Когда началась война, я ушла на фронт санитаром. Наш батальон с боями катился на восток, цеплялся за Батайск, стал насмерть под Доном-батюшкой, а после Сталинграда война перевесилась в обратную сторону и мы поползли на запад. А после ранение, госпиталь в Астрахани, а затем я попала сюда, на эту станцию, и меня оставили в Доме малюток. К тому времени я узнала, что на освобожденной Украине за пособничество немцам расстреляли отца, мать пропала без вести, а братишка погиб, и осталась я здесь с детишками, а куда мне ехать?

Это была хорошая сцена. Она давала простор для актеров. Я ее очень любил в романе. Она по-настоящему, по-человечески трогала. Но актриса переигрывала, сказывался театр, а мне хотелось правды и искренних переживаний. В большой, много-ролевой картине трудно не ошибиться в подборе актеров. В нашем случае молодую Валентину подбирали с учетом сходства с пожилой.

То была наша вина, не сумели мы раскрыть ее и времени для дублей было катастрофически мало.

Но, так или иначе, мы создали экранные отношения Валентины и Каратаса, переросшие в нежную привязанность двух людей с искалеченными судьбами.

Но ненависть к завхозу выросла в градусе, до самой высокой точки кипения.

Краснорожий завхоз люто невзлюбил Каратаса и теперь преследовал молодую женщину.

— С нормальным мужиком тебе не спится? — шипел он, изливая яд.

Терпеть это становилось невыносимым для Каратаса и однажды он поставит ее перед выбором: — Нам здесь житья не будет, уедем, земля большая. Решай!

И вот Каратас с Валентиной стоят на перроне с фанерными чемоданами, которые где-то раскопал Доттер и наш герой неожиданно покидает ее:

— Подожди меня, я сейчас, — говорит он ей и уходит, оставляя за собой недоуменную подругу.

Краснорожий в это время с громким чавканьем пожирает картошку, и с придыханием глотает водку. Он был сражен неожиданным вторжением каторжника. Огурец застыл у него во рту, и не успел он подняться, как мощный удар Каратаса опрокинул доносчика навзничь.

Здесь Досеке приложился как надо, эпизод смотрится без обмана, и взгляд у Каратаса горит торжеством мести.

Позже я догадался, что он, целиком проанализировав роль, в этот удар вложил ту скопившуюся обиду, какую накопил за годы страданий его киногерой.

Поезд уносил Каратаса и Валентину все дальше на север. Случайный попугчик в вагоне, узнав про их мытарства, посочувствовал:

— На станции Канды-агаш живет уважаемый в тех краях Сеит-аксакал. Если он вас примет, считайте, что вам повезло.

В романе я дал персонажу имя своего отца. Мне хотелось, чтобы человека, в котором я воплотил тысячелетнюю мудрость предков и их великодушие, звали его именем.

В романе их встреча происходит в доме Сеита-аксакала, в день сватовства его дочери. Там люди, уставшие от многолетней войны и трудных лет, искренне празднуют.

В кино над этой сценой мы размышляли все вместе и решили, что ее надо снимать в мечети.

Подобрали старинную мечеть, переговорили с имамом и попросили его, чтобы он собрал людей для массовки. В назначенный час мы были на месте и стали готовиться к съемкам.

Собрались уважаемые аксакалы, и Рустам принялся ставить им задачу. Но они вертелись на крупных планах, скашивали взгляд в камеру, и тогда Досеке придумал, как их обмануть.

— Я сейчас начну рассказывать им длинную историю и стану вынуждать их делать то, что надо нам, а вы, не прекращая, снимайте.

Пришлось поступить так, как предлагал актер, и все получилось. Мы наснимали панорам и разных укрупнений. Досеке увлек их интересным рассказом, и когда нам были необходимы их кивки, он спрашивал:

— Вы согласны со мной? — и доверчивые старики кивали головами.

В монтаже мы поставили этот кадр сразу после того, как Сеит-аксакал, обращаясь к Каратасу, произносит: — Сегодня мы поможем тебе, дадим место у нашего костра, а завтра ты протянешь нам руку, не так ли, аксакалы? — и получалось, что белобородые кивают на его речь.

Так и остались там Каратас с русской женой Валентиной и многие годы унеслись подобно ветру-суховею, прежде чем на забытый богом разъезд приедет вор в законе Единственный.

Та самая кроха, подкинутаая загнанным судьбой в угол отцом в Дом малюток. Кроха, прошедшая все перипетии сиротской доли.

Он — промучившийся в тоскливых лагерях многие десятилетия. Тот самый, который страдал от человеческой жестокости и, заматерев, сам превратился в хищного волка. Тот, чье сердце умело искренне любить и кого беззаветно любили.





Финальные съёмки

Итак, Единственный живет в доме своего отца. Они неспешно пьют чай, сидя на кухне, как вдруг обычно покладистая Валентина взрывается длинным монологом:

— Ну сколько можно? Каждый год ты косишь эти проклятые колючки, а они все растут и растут!

Старик Каратас бьет кулаком по столу и яростно выкрикивает: — До скончания века своего!

Пораженный Единственный молча вглядывается в лицо старика и начинает понимать, что ежегодная война с дикими колючками для старика — его вызов всему злему на земле.

— А можно, я поеду с вами?

И вот они трясутся на скрипучей телеге, и старик, точно разматывая бесконечный клубок, ведет долгий рассказ о своей многострадальной жизни.

Великая желтая степь раскинулась перед ними, где-то в своих необозримых просторах храня поле злополучного чертополоха.

Эту сцену придумал Риф. Он увидел «колючки» и приехал радостный, точно нашел сокровища Али-бабы. В сценарии у меня действия происходили тоже в степи, но там Каратас косит траву.

— Что трава? — Риф любил отождествлять. — «Колючки» — они зло!

Я был рад находке, а он счастлив оттого, что я принял его изобразительное решение.

Степь всегда красива и заманчива. О ней еще не рассказали в полной мере. Сложены Великие песни и написаны Величайшие Кюи. И все же о ней еще надо складывать ямбы, писать бессмертные картины, и всегда любоваться ею. Языком киноискусства, кистью, пером, переборами домбры...!

Но она бывает разная, степь! Прекрасная и беспощадная, пенно-ковыльная и песчанно-смертельная! В ней нашел свою смерть Великий Кир. Но в ней было место подвигу Ширака.

Однажды и я заблудился в ней, безбрежной, необъятной. Но моя история другая, она проще.

Десятки степных дорог разбегались по глинистым такырам. В какую сторону ехать, мы уже не знали, окончательно выбившись из сил и потеряв надежду. Стояла июльская невыносимая жара. Все живое зарылось в землю, прячась от зноя. Даже крохотные птички, обычно беззаботно купающиеся под голубым куполом неба, исчезли. У светлого горизонта, сливающегося с небом, поднималось марево, и казалось, что в той стороне вздымаются бескрайние воды. Мы окончательно заблудились в паутине степных дорог, и оттого, заглушив двигатель, сидели с опущенными головами.

И вдруг мы увидели пылившую навстречу машину. Мы прыгали на своих сиденьях и ликовали от радости: – Вот теперь мы выберемся!

Мой напарник остановил ее и стал расспрашивать водителя о дороге. Я опознал человека, которого жаждал увидеть долгие годы, мечтал о случае, когда бы я смог взглянуть в его бесстыжие глаза. Это был пасквильщик, сфабриковавший на меня дело, да такое, что восемь последующих судов не могли разобраться.

В машине сидел он. Если ему доведется прочесть эти строки, он узнает себя.

Вокруг на сотни километров простирались такыры, потому что это были срединные земли степи.

Я вышел из «девятки». Он побледнел.

– Узнаешь...? – спросил я.

У него мелко дрогнули губы.

– Земля же круглая! Вот мы и встретились...

Язык его был парализован от страха.

На задней панели «девятки» лежала пластиковая бутылка дешевой китайской водки. Я взял ее в руки. Она была горячей.

– Выпей за встречу или не рад?

Он согласно замотал головой. Сухими губами он произнес:
– Дайте стакан!

— Нет, ты пей с горла.

В памяти всплыл ИВС, куда меня он засадил, тесная, душная камерка, тридцатиградусное пекло за «решкой» и одинокий голубь на ней.

— Выпей, Санька! — сказал я тогда и подвинул Константу алюминиевую шлюмку, до самых краев наполненную водкой.

— Восемь лет, это конец жизни! — с горечью произнес мой сокамерник. У него осталась жена и только что родившийся ребенок. Он приехал из зала суда.

— Конец всей жизни! — в голосе звучала обида, боль раздирала его сердце.

— Восемь лет пролетят, Санька, — пытался успокоить его я. — Вот увидишь!

Санька пристально, с завистью смотрел на голубя, и когда он вдруг улетел, в глазах его расплескалась влага. Он лег на нару и, прильнув к «шлюмке», стал тянуть в себя горячую водку. Когда в ней осталось ровно половина, он отполз. Я взял ее в руки и произнес: — Если бог на моей стороне, он еще скрестит наши пути, и я предоставлю ему возможность глотать такую же горячую водку.

И вот, прошли годы, мы стояли с ним рядом. Всевышний послал мне эту затянувшуюся во времени встречу. Его пальцы вздрагивали от дрожи. Он принялся пить, захлебнулся, раскашлялся, но продолжил. Глоток за глотком и бутылка опустела. Он напоминал перекати-поле, готовое сорваться и кувыркаться к краю света, подальше от меня.

А я глядел на него, жалкого таракана: за все в жизни когда-то приходится платить!!!

Мы разъехались!

С высоты птичьего полета отчетливо видны разбегающиеся в разные стороны степные дороги. Но они неведомы глазу человека, потому что степь плоская. Но в ней всегда раскрываются тайны.

* * *

Так вот, старик Каратас стал повествовать квартиранту о том, как всю свою жизнь его преследует рок той зарубленной им женщины.

— Так я и не нашел своего сына, — закончил он горькую исповедь. — ТПРУ! — Лошадь встала, они взяли косы и направились к выросшему стеной чертополоху. Меня поражало преобразование Досеке в старика Каратаса. Он вынул из кармана дождевика точило и стал править серп. Я молча, забыв про кино, наблюдал за ним. Вот он стал косить, уничтожать проклятые «колючки».

Я спохватился и махнул косой. Близилась долгожданная развязка, как в жизни героя, так и у меня, автора романа. Теперь Единственный должен будет признать отца.

Мы косили, Риф с камерой забегал то слева, то справа. Вот Единственный отставил косу и снял с себя майку. Он положил ее на видное место, а сверху бросил тумар, который носил с тех пор, сколько помнил себя.

Согбенный безжалостным временем, Каратас подошел и взял в руки пиалу. Он налил в нее молока и поднес к губам. И вдруг взгляд его упал на тумар. Пиала дрогнула и выпала из руки. Белое молоко пролилось на траву. Он протянул руку и взял его.

— Отец! — вымолвил Жалгыз.

— Балам, балам, Жалгызым! — шевельнулись губы старика.

Он медленно повернулся и бросился к ногам сына. Риф подержал кадр и стал медленно «отъезжать». В кадре отец и сын сидели, обнявшись, посреди огромного поля чертополоха.

На следующий день мы стали снимать подъезд Каратаса с сыном к дому.

Упрямая коняга никак не хотела ехать, пришлось отхлестать ее камчой. Я был весь на нервах. Мы не могли найти ответ на вопрос: как себя должны вести отец и сын при подъезде к дому? Неожиданно Досеке произнес: — Я его прижму к себе, так и будем ехать. — Он прочувствовал эту сцену сердцем.

Телега вывернула из-за поворота и заскрипела навстречу камере. Мы сидели, обнявшись. Когда она остановилась, Досеке сошел с нее, потрогал тумар, затем, притянув меня к себе, обнюхал. Так матерые волки обнюхивают своего заплутавшего щенка. Он протянул мне руку, поддерживая, точно ребенка. Риф красиво снял этот эпизод с пятого дубля.

Сняли и обратную точку. Валентина, увидев в окно разгравшуюся драму, беззвучно рыдала, прикрыв ладонью губы. Она обо всем догадалась!!!

Оставалось нам снять сцену «Смерть Единственного».

Это был очень драматичный эпизод. Но, кроме того, нужны были автоматы.

Мой друг генерал Халыков позвонил коллеге-генералу, и он пообещал.

Но когда его набрал я, генерал ответил: — Я уезжаю, буду только через три дня!

Это означало, что съемки на три дня останутся, и группа будет изнывать от безделья.

— Господин генерал, через двадцать минут я буду у вас, прошу дождаться меня.

Узнав, где мы находимся, военный рассмеялся.

— Это невозможно, — прокашлял он в трубку, — но двадцать минут, как вы просите, я подожду на КПП, — пообещал несговорчивый генерал.

Между нами лежали сорок километров. Я прыгнул в «Максиму» и крикнул Нарыну, чтобы он пристегнулся. Асфальтированная дорога была на удивление ровной. Спидометр показал сто шестьдесят, сто восемьдесят, двести..., двести двадцать, двести сорок...!!!

Нарын лежал на сиденье ни жив-ни мертв! Через двадцать минут мы встретились на КПП воинской части. Обалдевший генерал приказал своему заместителю решить все наши проблемы. Итак, я гнал со скоростью двести пятьдесят километров в час, для того, чтобы получить автоматы, из которых должны будут застрелить меня самого. Это ли не парадокс? На тот момент я уже не отделял себя от героя.

Когда я привез злополучные «Калашниковы», во дворе, где мы должны были снимать, уже собирали большой студийный кран.

Выставили ночной свет и отсняли интерьерные сцены: Каратас с Валентиной молча лежат с открытыми глазами и вдруг слышат гудение автомобиля.

Это на зеленом «джипе» Досеке ехали киллеры убивать вора в законе Единственного.

Сердце любящего отца мгновенно подсказало ему недоброе предчувствие. Он встрепенулся.

— Там какие-то машины, — вымолвил он, зная, что Валентина не спит.

— Ой, беги, старик, беги, как бы беды какой не вышло!

Старый Каратас соскочил с расшатанной кровати и рванулся на улицу.

Мы отсняли этот кусочек, и перешли в другую комнату.

Вновь долго устанавливали предрассветный свет. Наконец он устроил Рифа.

Сквозь сон Единственный услышал звуки двигателя. Он приоткрыл глаза и осторожно выглянул в окно. «Увидел» джип, который мы снимем чуть позже, и тихо поднялся с постели. Вор понял, что это по его душу. Он вышел из кадра.

И вот мы на улице, во дворе дома. За забором толпятся аульные зеваки. Вдоль ограды рассредоточилась съемочная группа. Статично отсняли подъезд злополучного джипа. Переодетые под бандитов офицеры выскакивают из зеленого «ПАТ-РОЛЯ» и начинают точно в тире расстреливать Единственного. Последний выстрел произвел главарь. Он неспешно выступил вперед и хладнокровно спустил курок. «Калашник» коротко дернулся, выплюнув смертоносную пулю.

— Уходим! — выкрикивает главарь, и прыгает в срывающийся с места автомобиль.

Этот эпизод удалось снять быстро, без запинок. Укрупнили несколько кадров и приступили к финалу.

По мизансцене бледный, без кровинки в лице Единственный должен стоять на фоне выгоревшей дощатой веранды, изготовившись к смерти.

Я долго раздумывал над построением этой кровавой развязки.

Были разные идеи. Риф предлагал одно, Рустам второе. Когда зритель смотрит «Калину красную», все в нем изнутри восстает. Мог Егор Прокудин увести трактор по глубокой пахоте, «Волге» бы за ним не угнаться. И еще десяток всевозможных вариантов исхода финала.

Но герой Василия Макаровича Шукшина не мог так поступить, оттого что сам автор был человеком чести и всегда шел

навстречу опасности. Именно поэтому у бандитов, возглавляемых Губошлепом — Бурковым, сложился такой расчет.

То есть знаток жизни Шукшин сознательно выстроил мизансцену таким образом, чтобы его Егор был обречен. Я уверен в том, что он сильно нервничал и переживал эту «подставу» автором героя. Но другого пути у него не было. Ведь если вдуматься, что такое отрицательные и положительные герои? Каким образом наделяет их судьбы автор? На страницах своего произведения, сценария он становится богом. Но какую боль переносит автор, умышленно создавая для любимого героя ситуацию, за которой проглядывается старуха с косой по имени — СМЕРТЬ!

Вот и я по ночам не спал, ворочался. Понимая, что шансов у Единственного остаться в живых нет, мне хотелось крови его убийц. Я раздумывал о построении мизансцены, где бы киллеры не стреляли с расстояния, но пробирались в дом. И вот тут, сам до мозга костей хищный зверь, вор в законе Единственный мог бы их встретить топором. Одного, второго, хрясь! А потом и умирать не обидно!

Но поступить так я, конечно же, не мог! Мозг — эти перегруженные извилины, одолели абсурдные мысли. Если Жалгыз окажет сопротивление и прихватит на тот свет парочку наемников, то оставшиеся в живых после расправы над ним порешат старого Каратаса и добрую Валентину. Чего только не втемяшивалось! Предопределивший Жалгызу от самого рождения страшную судьбу, вымачивая его жизненный путь страданиями, я должен был отдать его на заклание!!!

И от осознания этого я сильно мучился. Чем ближе приближался день финальной развязки, тем сильнее меня подмывало напиться до беспамятства.

Но вот Риф уже в операторском кресле и репетирует отъезд вверх. Он тщательно примащивается, точно находится в кабине «Шаттла» и готовится к взлету.

Рустам безжалостно ставит Жалгыза у стены, а мне в голову приходит идиотская мысль: «Сколько он поставил бы к стенке во времена «красного террора»? Это вместо того, чтобы думать над актерской игрой!

На площадке, репетируя, появился старый Каратас, и один только вид Досеке мгновенно подсказал мне органику игры.

Да, мой герой будет стоять у стены, и принимать в себя одну за другой горячие пули, разрывающие грудь и убивающие его мир! Пиротехник Валера долго и нудно устанавливал пулевые насадки на моем теле, мешая сосредоточиться.

Команда: МОТОР! НАЧАЛИ!

Не раз видевший смерть в лицо, знавший ее на вкус и запах, Жалгыз, видя, как в него целятся убийцы, прикусывает губу и пятится назад. Алым бутоном на белой рубашке расцветает отголосок первого выстрела. Единственный удивленно вскидывает голову и разглядывает его, но уже другой кровавый гостинец рвет тело. И так, одна за другой, взрываются насадки. И я ожидаю Последнюю и самую Смертельную Пулю. После которой я переломлюсь в пояснице и, ища точку опоры, слабейшими руками потянусь к стене. Из уголка губ потечет тонкая струйка крови, точно в расфокусе, я увижу бегущего ко мне отца и опущусь ему на руки.

— Ойбай! Бул не? (Что же это?) — воскликнет старик Каратас и, словно раненый зверь, с нечеловеческим воплем бросится к сыну, только вчера обретенному.

— Отец! — прошепчет Жалгыз, — на мне все закончилось! — подразумевая рок, преследовавший отца и сына. Рок, идущий от проклятья зарубленной в пылу боя женщины.

— У меня есть сын, твой внук, найди его, — попросит умирающий вор отца.

В звянящей тишине аула будет слышно, как зудит одинокий комар и покажется: все замерло в природе от горя.

Плач, вознесшийся к небу, разорвет мое сердце. Досеке зарыдает так жутко, что от страха в унисон ему станут захлебываться лаем все аульные собаки. Краем глаза я замечу, как медленно отъезжает вверх стрела крана с Рифом, и стану молить Всевышнего, чтобы дубль оказался без брака. Второй такой дубль сыграть было невозможно.

Он и остался в монтаже, этот единственный дубль. На нем Единственный лежит на руках у обезумевшего от горя отца. Камера отъезжает, поднимаясь все выше, и с высоты птичьего полета можно разглядеть две крохотные фигуры в белом.

Киношные байки

КАК МИША ПОДРУЖИЛСЯ С КОРОЛЕМ

Мой друг Миша давно стал лысеть. Приговаривал, что из-за избытка ума. В этом ему не отказать. Но он всегда при встречах глядел с сочувствием.

— Лысеешь? — вздыхал Миша.

— Да! — отвечал я. Не уточняя факт, что сам он был более.

Мы стояли с ним на Дворцовой площади. Ветер с Невы разметал волосы. Миша кинул на меня синий взгляд.

— Лысеешь!

Я не успел ответить, нас сняли. Прошло тринадцать лет. На днях я обнаружил то фото. У меня развеивается самый настоящий чуб. Редкие пряди Миши посдувало ветром. Спустя этих самых тринадцать лет, Миша прилетел в Казахстан. Мы встретились в аэропорту. Крепко обнялись. Он забыл поздороваться. Бросил на меня синий взгляд.

— Лысеешь! — сказал Миша. Я взглянул на него. У него ото лба до затылка пролегла автострада сверкающей лысины.

Я сказал: — Да!

Мишина жизнь — это «Хождение по мукам». Он перепробовал себя во всех сферах и аферах. Миша отливал из гипса страшные маски. Он собирал пробки от бутылок. Оказывается, они содержат цветмет. Он продал японцам идею обливания спичек с двух сторон. Дети страны восходящего солнца ухватились. У них дефицит древесины.

Утилизировал кору от деревьев. Порекомендовал мне устроиться на мясокомбинат. В убойный цех. Вырывать печени убитых животных. Оказывается, в желчных пузырях растут желчные камни. Точно жемчужины в раковинах. Я проигнорировал совет. Пошел своей дорогой. В то время я писал повесть. Миша

предложил мне продавать сигареты с травкой. С самой настоящей. Не марихуаной. Травкой, которая якобы лечит от курева. Я проигнорировал его. Пошел своей дорогой. В то время я писал роман. Миша занялся скупкой значков. Однажды он позвонил мне.

— ГДР распалась, а значки, выпущенные в ту пору, теперь стоят денег, — сказал он, — собирай значки.

— Я спросил: — Какие?

— Эмалированные! Поставь киоск на базаре.

Чтобы не обидеть, я сказал: — Ладно!

Но сам проигнорировал совет. Пошел своей дорогой. Я готовился к съемкам сериала.

— Ты никогда меня не слушаешь, — сетовал Миша. Он от значков перешел к наградам. Стал мотаться между Стокгольмом и Мюнхеном. Между Хельсинками и Брюсселем. Собрал ордена всех стран Европы.

— У вас продают ордена? — спросил он меня по телефону.

— Продают! — ответил я.

— Так начинай скупать!

— Хорошо, — ответил я. Как я мог объяснить, что их продают в правительстве. В который раз я проигнорировал друга. Я опять пошел своей дорогой. В то время я снимал «Потерянный рай».

Но вот мы с королем приехали в белокаменную. Поселились в тесной комнатке отеля. Она напоминала келью. В ней стояли две кровати. Оставался узкий проход. Когда один расхаживал, другой был вынужден лежать. Король не был знаком с Мишей. Он его в глаза не видел. Как истинный монарх, он рано улегся спать. В четыре часа ночи позвонил охранник. Сказал, что ко мне гость. Я разрешил подняться. В дверь постучали. Я щелкнул ключом. К неопишуемой радости, в проеме стоял Миша. Мы обнялись. Он забыл поздороваться. Посмотрел на меня синим взглядом. И посочувствовал:

— Лысеешь!

Я сказал: — Да!

— А это кто спит? — Миша покосился на спящего короля.

Я сказал: — Тише! Это король!

— Какой король?

— Король Эдвард! Драматург!

— А-а-а! — Миша тут же утратил интерес к спящему. У него есть две плохие привычки. Он всегда их возит с собой. Первая — громко говорить. Вторая — жутко храпеть. Он начал с первой. Достал из сумки награды. Стал раскладывать. Выложил ими всю мою кровать. Стол стал похож на мозаику. Тумбочка тоже. Места больше не было. В проходе стояли наши с Мишей ноги. Он стал раскладывать их на короле. Король стал похож на Брежнева. От звона орденов он проснулся. Миша протянул ему руку.

— Миша, — произнес он.

— Эдвард, — сонно вытянул король.

— Король Эдвард, — поправил я.

— А что это, — недовольно спросил король, намекая убрать.

— На тебе ордена второй степени, — ляпнул Миша.

Королю не понравилось. В четыре часа ночи второй степени!

— А где первой? — спросил он. Сон смахнуло как рукой.

Его раздирало любопытство.

— Первой степени на кровати Марата, — Миша всегда поражал меня простотой. Чтобы загладить вину перед королем, я предложил выпить. Меня поддержали. Мы выпили весь бар. Король великодушно простил Мишу. За то, что усыпал его дождем наград. И за вторую степень. Посовещавшись, легли спать. Мишу уложили в проходе. Он тут же приступил ко второй привычке.

Илья Муромец — по сравнению с ним ребенок. Кто-то стал тарабанить нам в стены. Я задремал, когда на стекло упал луч солнца. Проснувшиеся Миша и король говорили про значки. Оказывается, у короля их несколько тысяч. Я этого не знал. Рейтинг короля стал рушиться в моих глазах. Не королевское это дело! Выяснилось, что происходило в детстве. Они стремительно быстро нашли общий язык. К тому моменту я с Мишей дружил уже семнадцать лет. Всю жизнь я игнорировал его. Наступил его звездный час. Теперь он игнорировал меня. Мы вышли на улицу. С неба сыпалась белая крупа. Мы с королем были без шапок. Я едва успевал смахивать с головы снежную шапку. Король тоже. Миша единственный был в картузе. Вдруг я не поверил своим глазам. Тому, что увидел! Без тени раздумий Миша сдернул с себя картуз, и протянул королю.

— Одень, а то простудишь голову, — сказал он. Про меня даже не вспомнил. В тот единственный раз я не пошел своей дорогой.

Я пошел за ними!

ПРО ГОВОРЯЩЕГО ВОРОНА, КАЛОШУ САПАРЫЧА И БЕДНОГО ТРАВМАТОЛОГА

Это были съемки «Потерянного рая». Группа балдела в крохотном горном ауле Курметы. Более шикарного ландшафта я не встречал. Он сгуртовался на дне ущелья. Со всех сторон его окружали величественные горы. Киношники расхаживали сытые. Любовались природой.

Актриса Захарова вышла на улицу. Она проснулась раньше всех. Долгий перелет не сказался на ней. Ей хотелось посмотреть на горы. Утренние горы отличаются от полуденных. И тем более от вечерних. Это она прочитала у Лермонтова. В Москве гор не увидишь. Разве что в Третьяковке. Во дворе дома было пусто. Улицы тоже были безжизненными. Она приехала сюда, когда уже смеркалось.

Кроме режиссера, никого не знала. И того вчера увидела впервые. Он ей не понравился. Прискакал на взмыленном коне. Сполз с клячи с видом человека, вышедшего из «Бентли». Оглядел ее, точно купленную лошадь. Хорошо, не стал заглядывать в рот, чтобы осмотреть зубы. Сегодня она ему покажет. Не зубы, а школу игры. Актерской игры. Так размышляла актриса посреди двора. Пустого двора. В металлической клетке сидел черный ворон. Актриса не удостоила его вниманием. Подумаешь, невидаль! Она вспомнила Москву. Молодого японца, с которым играла в последней картине. В памяти всплыли его объятия. Она сладко потянулась. Как вдруг кто-то позади произнес:

— Аброй хороший!

Актриса Захарова обернулась. Никого не было. В дальнем углу двора понуро стоял ишак.

— Ишак не мог сказать, — подумала она. Актриса решила, что ей померещилось. Вернулась к сладким воспоминаниям.

Почувствовала тепло его ладоней. Из-за спины мужской голос произнес:

– Аброй хороший!

У актрисы Захаровой по коже пробежал мороз. Она вновь посмотрела на ишака. На этот раз пристально. Стала раздумывать о Востоке. А он, как известно – дело тонкое. Она вспомнила сказку про Насреддина. В ней был говорящий ишак. Напрягла память сильней. Вспомнила, что говорил не ишак. Говорили с ишаком. Насреддин всегда говорил с ишаком. Мысли ее возвратились к режиссеру. У него был пронзительный взгляд. Точно он раздевал ее. Она вспомнила свое вчерашнее состояние. Почувствовала себя обнаженной. От стыда машинально прикрылась. Руками. Как это обычно делают женщины. Прикрыла низ живота.

Позади тот же мужской голос произнес:

– Аброй хороший!

Актриса Захарова со всех ног рванула со двора. Она бежала и думала:

– Что это со мной происходит? Ишак не мог говорить. Она в тот миг глядела прямо на него. Так кто? Говорили же ей в Москве. Перед отъездом. Гляди, Ленка – Восток дело тонкое!

Актриса Захарова не учла, что ворон был говорящий. Он должен был произнести в кадре: – Аброй хороший!

Вся группа учила его этой фразе. Вот он и болтал. С раннего утра.

На съемках «Этапа» оператор сломал ногу. Точнее, большой палец правой ноги. Сгнивший ствол вековой ели раздавил его. Он катился прямо на камеру. На раздумье оставались секунды. Сапарыч вспомнил подвиг Матросова. Он подставил под ствол ногу. Палец оказался расплюсчен. Истинный оператор спас технику. Но теперь волочил за собой гипс. Сапарыч два метра ростом. Обувь у него пятидесятого размера. Одна нога пребывала в кроссовке. Другая в калоше шестидесятого. Натянутой поверх гипса. Его походка вызывала истерический смех. Та, что в кроссовке, делала саженный шаг. Как у Петра Первого. Нога в калоше волочилась, напоминая снегоступ. Которым ходят по снегу.

В группе было несколько женщин. Мужчины вились около них. Доносились слухи, что многие разбились по парам. Кому

не достались, обзавелись аульными. Мы с Сапарычем стойко держались. Уже третий месяц. В один из дней я зашел к нему. В монтажную. Сапарыч сидел, обняв колени. Взгляд его был мутным. Он был всецело прикован к поломойке. Женщине, которая мыла полы. Она была местной. Крупной и сильной. Я видел, как она переносила бревна. В то время как мужик ее спал. С похмелья. Женщина всегда улыбалась. Точно была добродушной. На самом деле была тронутой. Не временем, умом. Совсем слегка. На дощатых полах это не отражалось. Сапарыч глядел, не отрываясь. На меня не обратил внимания. Женщина возила тряпкой. Крупное тело изгибалось. Она казалась крупной рыбой. Выброшенной волной на берег. Сапарыч мог оказаться котом. Я интуитивно почувствовал, как он выпустил когти. Засаленный халат женщины приподнялся. Я увидел толстые белые бедра. Взгляд мой скользнул выше. Таз оказался округлым. Он напоминал большой глобус. Такой был у нас в классе. Когда я учился в пятом. Я тогда уже сравнивал его с тазом. Не медным. Тазом женщины. Видно, я с детства был озабоченным. Нагляделся на Венеру Милосскую. Талия поломойки оставляла желать лучшего. Она не соответствовала мировым стандартам. Девяносто-шестьдесят-девятиности ей не светило. Я подумал:

— Если бы у нее талия была шестьдесят, она не смогла бы таскать бревна!

С такой талией здесь делать нечего. В горном ауле необходима сила. Тут женщин любят за нее. А не за талию. Мы с Сапарычем были извращенцами. В этом смысле. Потому что мы городские. Груды поломойки нечаянно вытряхнулись. Они оказались совсем переспелыми. Она не смутилась. Запихала обратно. Одним движением руки. Сапарыч нервно дернулся. Я тоже желал, чтобы они повисели. Поколыхались. В такт ее движениям. Жалко ей, что ли? Поломойка обернулась и улыбнулась. Я чуть было не взвыл. Сапарыч прошептал:

— А она ничего!

Я ответил также шепотом:

— Была бы еще талия шестьдесят сантиметров!

Сапарыч опроверг меня. Он произнес:

— С такой талией тяжело таскать бревна.

Я вытаращил на него глаза. Как он мог прочитать мои мысли? Потом вспомнил:

— Режиссер и оператор — единомышленники!

Вскоре после Сапарыча я сломал руку. Поехал к травматологу. Он сказал, что месяц назад накладывал гипс. Я спросил: кому? Травматолог ответил:

— Одному оператору.

— Как его зовут? — я насторожился.

— Он снимает сейчас фильм «Потерянный рай». Знаете его?

Я промолчал. Подумает, что на картине один членовредители.

Травматолог попросился сыграть. В массовке. Для него это было важно. Я дал согласие. Наутро была съемка. Массовки оказалось семьдесят человек. Костюмер передела травматолога. В костюме заключенного. Он слился с серой толпой. Солнце стремительно уходило. Массовка была неуправляемой. Сапарыч сказал:

— Сейчас не снимем, солнце уйдет.

Я стал нервничать. Попросил массовку не улыбаться. В кадре они должны были быть суровыми. Но они продолжали расплываться. Им было смешно. Может, они были жизнерадостными. Но у нас уходило солнце. А солнцу не прикажешь. Я стал вопить. И зор рта вот-вот могла политься пена. Не сдержавшись, я сильно хлопнул. По груди массовочника. Он вытаращил бельма и изумился:

— Это же я — травматолог! — произнес он.

Я запретил ему смеяться. Во имя кино он усмирил гнев. Подавил в себе бунт разума. Лишь бы остаться в истории. Через эту глупую съемку. На монтаже король Эдвард вырезал эпизод. Он был безжалостней любого хирурга. Просто брал и вырезал. Безо всякого скальпеля. Нажатием клавиши. И все! Человека словно и не бывало. Да что там человека! Король есть король! Он мог вырезать сотню людей. Что для короля сотня человек? Как в этот раз. Он вырезал всю массовку. Все семьдесят безвинных душ. Выбросил их в корзину на свалку истории. За улыбки на лицах. В том числе и бедного травматолога. А он так жаждал остаться в истории.

Прошло пять месяцев. Картина была закончена. Я чудом вновь оказался в травматологии. И встретился со старым знакомцем. Он обрадовался мне точно родственнику. Будто, чтобы доставить ему радость, я должен был все время что-нибудь ломать. Он спросил меня, закончена ли картина. Я сказал: – Да!

– Ну, как я вышел? – спросил он.

– Потрясающе! – сказал я. Что еще мог я ему ответить? Тем более что предстояло вправлять вывихнутый сустав. Не мог же я сказать, что король выбросил его в корзину. После всех жертв, принесенных им кино. Тем более что он держал мою руку!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Уже раннее утро за окном, все яснее прорисовываются очертания гор с белоснежными макушками, точно они посидели за ночь и мне пора заканчивать этот роман о втором походе за СЛАВОЙ! Мне жаль прерываться на грустной ноте бесславной гибели Жалгыза, и хочется рассказать вам полсотни добрых историй, чтобы расцветить Ваши лица улыбками.

Ведь в мире ничего нет прекрасней, чем счастливые улыбки!

«Я так думаю!» — произнес бы замечательный актер Фрунзик Мкртчян.

Я получил удовольствие, повествуя о веселых днях, которые по прошествии времени именно такими и представляются: смешными, комичными, а потому — счастливыми!

Я бы мог еще описать Вам, как из любви к своим друзьям Шурику и Валико, которых не имел возможности видеть несколько лет, я накрыл стол в одном из ресторанов Жезказгана. Я попросил официантов установить приборы в места, где условно сидели мои друзья, принести горячие блюда и периодически менять на другие вкусности, а музыкантов — играть для них.

— Но ведь их нет! — недоумевали оркестранты.

— Они здесь. Вы их просто не видите! — убеждал я ребят, и произносил отсутствующим друзьям здравницы.

Про сапоги. Про целую фуру кирзовых сапог, какие я привез для солдат нашей армии из самой Москвы. И как оказалось, что не все так просто: и стелька не кожаная, а картонная, и юфть не той толщины, на разрыв не выдерживает ГОСТа, и каблук на сжатие не тот, и пробиты они не латунными гвоздями, как требуется, а цинковыми!

И еще про Тамика, молодого горячего осетина, которого послали в соседний город-спутник в Горторг, спросить, купят ли они холодильники?

Он отмахал туда двадцать пять километров на машине и спросил: купят ли они холодильники? Ему ответили, что купят. Он поехал обратно и сказал, что купят. Но его спросили: – Налом или безналом? Он сказал: – Сейчас узнаю, – и опять поехал двадцать пять километров.

– Налом или безналом? – спросил он в Горторге, и ему ответили, что безналом!

Он быстро вернулся и сообщил, что купят безналом. Его спросили: – А чеком они могут рассчитаться?

– Сейчас я узнаю, – и в который раз пролетел двадцать пять километров.

– А чеком вы можете рассчитаться?

– Да! – ответили ему.

И снова двадцать пять.

– Они сказали «Да!» – привез он ответ.

– Ты что, Тамик, все это время гонял на машине? – спросил его Отари.

– Да! – гордо ответил молодой осетин.

– Быстро ты едешь! – тонко заметил Отари, – а слово «телефон» тебе ни о чем не говорит?

И еще – про то, как он же в годы кризиса случайно напоролся на майонез в баночках и купил продукта целый багажник. Он привез майонез в Жезказган и его раскупили в мгновение ока. И я однажды спросил его: – Что бы ты делал, Тамик, если бы у тебя был миллион долларов?

Он ответил мне, не задумываясь: – Я бы на все деньги купил майонез!

И даже про то, как на полном ходу нашу «девятку» закрыло, и я, едва удержав автомобиль, чертыхнувшись, произнес:

– Из-за такого гололеда, бя, поскользнулся Саша Матросов!

Любознательный Тамик встрепенулся: – А кто такой Саша Матросов?

Я ответил ему на полном серьезе: – Это друг Отари.

– Это который лысый, да?

– Да, лысый! – что еще я мог ему сказать?

А вам я бы мог поведать смешную историю про миллионера-банкрота, пришедшего к гадалке узнать, когда вновь появятся миллионы. Как она била его палкой, изгоняя духов-завистников, и нежный бизнесмен стойко переносил удары ради грядущих барышей. И она нагадала ему, что скоро явится инвестор и вложит в проект большие деньги. И как он терпеливо ждал, а его нет и по сей день.

А еще про контрабанду масла, которое мы фурами таскали через границу по степным дорогам. Как оно таяло в июльскую жару в испорченном холодильнике, и текло сквозь щели на степную ковыль, поливая ее нашими деньгами. Я тогда наблюдал, как могут утекать деньги!

Или про то, как наркоман Медоев обучал якутов каратэ. Он посадил тридцать человек посреди тайги и велел им бить ребрами ладоней по принесенным с собой «швыркам». Они разбивали ладони в кровь, и срезы «швырков» пропитывались ею насквозь.

— В каратэ главное набить ребра ладоней! — вещал он, и якуты безропотно выкладывали деньги аферисту.

Или про то, как я в шутку рассказал молодому якуту о традиции мусульман бить женщину палкой по голове каждое утро. И как он, напившись, сотворил это со своей женой, ссылаясь на правила ислама.

Или про то, как ночью, под проливным дождем, я нес пьяного вдребезги Виктора Мазина, олимпийского чемпиона по штанге и он, лежа на моем плече, кричал идущей навстречу агрессивной толпе: — Эй вы, козлы! Я вас сейчас убивать буду!

Я бы мог раскрыть вам забавную историю про Панаидова, чемпиона-международника, преследовавшего недругов, бежать за которыми мы устали и повернули назад. Как беглецы, оглянувшись, увидели, что он гонится за ними один, и кинулись на него. Чемпион летел прочь, не касаясь ногами земли, и ему мог бы позавидовать быстроногий гепард.

Или про то, как мы с Пушкарем, двадцатилетние, всю ночь декламировали стихи, а под утро босоногими вышли в подъезд «шибнуть бычка». Но в подъезде их не оказалось, и тогда, несмотря на сорокаградусный мороз, мы побежали за километр

к автобусной остановке. Укутанный в овчинный полушубок мужик в ответ на нашу просьбу бросил на снег «Беломор» и пустился бежать, что было мочи.

А, может, про то, как бурной зимней ночью оголодавший «бич» срезал с форточки сетку с последней уткой, и я кричал ему: — Мне нечего есть! — а он, убегая, бросил аргумент, что ему тоже Нечего Есть!!!

Мне так и хочется окунуть вас в комичный случай Георгия Лутошкина, имевшего следующий номер для зрителя. Он метал на бегу один за другим восемь топоров в прикованного к вращающемуся колесу Игоря Сапарова. Этот трюк был отработан ими до автоматизма, и ничто не предвещало того, над чем они станут позже истерично смеяться.

Колесо вращалось, и топоры, брошенные рукой Георгия, послушно вонзались по обе стороны Игоря, вызывая у зрителей состояние Саспенса. Но с последним топором не заладилось. На бегу Георгий спотыкается и уже в падении метает злополучный топор, а перед бедным Игорем, точно в немом кино, промелькнула вся его бесшабашная жизнь, и это был Саспенс, предназначенный для него!

Но у меня чешутся руки, чтобы познакомить вас с потрясающе интересным собеседником, Султаном Махмадовым, к которому я заявился в поиске средств для спасения картины. Он задал мне единственный вопрос: — СКОЛЬКО?

Я назвал, а он стоически перенес.

Но может вам станет интересно выслушать про мою предрассветную пьянку с «бомжем» среди брошенных пустых домов с зияющими провалами окон. Он покажется сродни моей ухабистой жизни, только несколько запущенней. После первой выпитой я узнаю его и окажется, что мы не виделись двадцать лет. Но более того, выяснится, что я в ту пору одолжил ему денег, которые он мне так и не вернул. И он запросто промолвит: — Дай еще пятерку, в следующий раз отдам все вместе.

Но нет, я не стану теперь рассказывать эти истории, каждая из них достойна отдельного внимания и я опишу их вам в следующих книгах.

И не только, потому что... о жизни всякого человека можно повествовать бесконечно, но как только рассказ закончится,

подойдет к концу и сама жизнь. Оттого что убывает она день за днем, капля за каплей истекает Великая Энергетическая Жидкость из Сосуда Жизни.

И на фоне эпох, тысячелетий жизнь отдельного индивидуума возможно сравнить с песчинкой в бесконечных желтых барханах, простирающихся от горизонта до горизонта. Налетает сухой обжигающий ветер, и барханы откочевывают, перемещаются, а на их место прилетают новые, другие. Они заносят брошенные города, погребая своей толщей, летят над пустынными морями, оседая на дно, и никто в мире не знает путь одинокой песчинки.

Но! Когда ветер вздымает и несет их, то все вместе они создают неповторимую мелодию, и в той песне есть голос каждой!

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ | 3 |
| УХОДЯЩАЯ НАТУРА | 9 |
| ВЕСЕННИЕ СЪЕМКИ | 89 |
| СЪЕМКИ ДЕТСТВА | 94 |
| ИНГА | 104 |
| ЖИВОЙ | 112 |
| ВСТРЕЧА С КАЙЛО | 114 |
| ДРАКА ЕДИНСТВЕННОГО С ОТЦЕУБИЙЦЕЙ | 115 |
| ВСТРЕЧА СО СТАРЫМ ТУЗОМ | 118 |
| СВЕТЛАНА ПЕРВАЯ | 119 |
| СМЕРТЬ СТАРОГО ТУЗА | 120 |
| СВЕТЛАНА ВТОРАЯ | 121 |
| ПРИХОД КАЗАНЦА | 122 |
| СУД | 123 |
| КАМЕРА СМЕРТНИКОВ – ПИСЬМА ЛАТВИНЫ | 124 |
| ТОЛЯН | 129 |
| «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» | 131 |
| ВСТРЕЧА С ЯШЕЙ ТЮРЬМОЙ | 133 |
| ПОБЕГ | 137 |
| СВОБОДА – КОРОНАЦИЯ | 148 |
| КОРОНАЦИЯ | 149 |
| СЪЕМКИ В МОСКВЕ | 152 |
| ЛЕТНИЕ СЪЕМКИ | 155 |
| ПРИЕЗД МОСКОВСКИХ АКТЕРОВ | 165 |
| ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРАТАСА ИЗ ЛАГЕРЯ | 189 |
| ФИНАЛЬНЫЕ СЪЕМКИ | 195 |
| КИНОШНЫЕ БАЙКИ | 205 |
| КАК МИША ПОДРУЖИЛСЯ С КОРОЛЕМ | 207 |
| ПРО ГОВОРЯЩЕГО ВОРОНА, КАЛОШУ САПАРЫЧА И БЕДНОГО ТРАВМАТОЛОГА | 210 |
| ВМЕСТО ЭПИЛОГА | 215 |

КОНЫР МАРАТ СЕИТОВИЧ

**ВТОРОЙ ПОХОД ЗА СЛАВОЙ
ИЛИ
ОГОНЬ, ВОДА, МЕДНЫЕ ТРУБЫ
И ВОЛЧЬИ ЗУБЫ**

Роман

Редактор *Р. Турлынова*
Худлжник *З. Каленкызы*
Дизайнер *Ж. Казанкапов*
Компьютерная верстка *Е. Ашилова*

Подписано в печать 07.07.07. Формат 84x108 1/32.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. п.л. 11,76.
Гарнитура «ММ Таймс». Тираж 1000 экз. Заказ №150.

ТОО «Издательство «Фолиант»
010000, г. Астана, ул. Ш. Айманова, 87/1

Отпечатано в типографии издательства «Фолиант»
010000, г. Астана, ул. Ш. Айманова, 87/1